

ГЕОРГИЙ
ЖЖЕНОВ

РАССКАЗЫ



ImWerdenVerlag
München 2005

СОДЕРЖАНИЕ

От автора.....	3
ДЕТСТВО	13
ЧТО ДЕЛАТЬ?	17
АРЕСТ.....	24
«КРЕСТЫ».....	26
47-Й КИЛОМЕТР.....	31
САНОЧКИ	34

От автора

До недавнего времени все, кого интересовало мое прошлое, при встречах на улицах, в театре, в поездах и самолетах, на творческих вечерах и особенно в своих письмах мне, касаясь периода моей жизни на Севере, спрашивали: «Скажите, Георгий Степанович, вы поехали на Колыму и на Таймыр по комсомольской путевке?»

Потом — уже после публикации рассказа «Саночки» в журнале «Огонек» и книжки «Омчагская долина», вопрос стал звучать иначе: «А за что вас посадили, Георгий Степанович?»

И хотя большинство спрашивавших не хуже меня знали, что репрессиям подвергались миллионы безвинных, мой ответ: «Ни за что» — никого не устраивал. В таких случаях мне отвечали: «Вы нас не так поняли, мы верим, что вы не виноваты, что вы не враг народа... Но мы хотим знать конкретный повод, по которому из вас — двадцатидвухлетнего — состряпали «государственного преступника»! Что это было? Неосторожно оброненное слово, рассказанный анекдот, «опасное» знакомство, донос или что другое?..»

В предлагаемых читателю записках я пытаюсь извлечь из недр моего прошлого события более чем полувекковой давности.

Пытаюсь воскресить, вытащить из архивов пережитого страницы жизни, давным-давно прочитанные, перевернутые быстро бегущим временем и похороненные в бездонных кладовых забвения...

Единственным и не всегда надежным помощником в этом мучительно трудном деле, затеянном мною на восьмом десятке лет, является память.

Человеческая память — гигантский музей, хранящий в своих «запасниках» все неостребованное временем, все забытое!..

Никаких других источников, по которым я мог бы сверить собственную память с действительностью, с фактами чудовищного произвола властей, в моем распоряжении нет. И спросить некого...

Один за другим уходят из жизни последние свидетели — человек не вечен! Годы, проведенные в царстве ГУЛАГ не способствуют долголетию... Среди товарищей по несчастью я был один из самых молодых тогда.

До ареста дневников или записных книжек не вел. Всегда хотел, неоднократно давал себе обещания записывать самое интересное и существенное, даже начинал, но дальше начинаний, как правило, дело не шло, — легкомысленно надеялся на свою молодую память.

Позже — в заключении, когда еще жива была надежда на возвращение, когда особенно хотелось запомнить все, что происходило со мной и вокруг меня, чтобы когда-нибудь на свободе рассказать обо всем людям, — вести дневниковые записи, а тем более хранить их было равносильно самоубийству. В то время обнаруженный при обыске автомат, тайно хранимый заключенным, грозил бы последнему меньшей карой, нежели найденные при нем записи, сделанные из-за «колючей проволоки»...

В годы лагерного произвола увековеченных слов боялись больше, чем оружия. И не без основания: все беззакония всегда творились скрытно от народа! Тайну преступлений оберегают тщательно — нарушителей и свидетелей не щадят.

Итак, надежда только на собственную память...

Началом всех несчастий в нашей семье явился роковой декабрь 1934 года, когда был убит Сергей Миронович Киров.

В эти скорбные для ленинградцев дни, университет, в числе других предприятий и организаций города, отдавал последний долг памяти партийного лидера, тело которого было выставлено для прощания в Таврическом дворце, недалеко от Смольного.

Стояли сильные декабрьские морозы...

Мой брат Борис, студент механико-математического факультета университета, обратился к комсоргу своего курса с просьбой разрешить ему остаться. Показав на свои разбитые ботинки, он сказал: «Если я пойду в Таврический дворец, я обязательно обморожу ноги. Какой смысл? — Кирову это не поможет».

Комсорг донес об этом в комитет комсомола университета, несколько извратив слова брата. В его редакции они выглядели так: «От того, что я пойду прощаться, Киров не воскреснет».

Последовало немедленное исключение его из университета. И как следствие этого — лишение прописки, то есть права жительства в городе Ленинграде.

Почти весь 1935 год брат обивал пороги Верховной прокуратуры СССР в Москве, протестуя против несправедливого исключения.

В конце концов его восстановили в правах студента, и он вернулся в Ленинград. А в декабре 1936-го почтальон принес повестку, обязывающую брата явиться в Управление НКВД на Литейном проспекте.

Несколько дней этот зловещий листок лежал на комодке, рождая в каждом из нас безотчетный страх и недобрые предчувствия, словно похоронка.

В назначенный в повестке день, 5 декабря (день Сталинской конституции!), Борис, не заходя в университет, ушел в «Большой дом». Домой он оттуда не вернулся никогда!

По несправедному приговору Ленинградского областного суда, в мае 1937 года, его осудили на семь лет за «антисоветскую деятельность».

Перед отправкой на этап нам с матерью было разрешено свидание с ним. Без жгучего стыда не могу вспоминать свое поведение в тот день.

В комнату свиданий, разделенную зарешеченным барьером, отделяющим заключенных от посетителей, ввели брата... Взглянув в его лицо, за месяцы тюрьмы приобретенный характерный землистый цвет, — в его внимательные, умные глаза, выразившие одновременно и радость встречи и притаившееся в глубине страдание, тщетно скрываемое им, — меня вдруг захлестнула такая обжигающая душу жалость... Захотелось немедленно предпринять что-то... Утешить его, подбодрить, вселить надежду...

Не найдя ничего более умного, я понес какую-то жуткую околесицу насчет добросовестного труда, вознаграждаемого в нашей стране... Бормотал жалкую несусветную чушь из арсенала пропагандистских «сказок про белого бычка»... «Не отчаивайся, — говорил я ему, — постарайся хорошо работать в лагере. Твои семь лет проскочат за два-три года... И не заметишь, как выйдешь на волю. Тому, кто добросовестно и хорошо работает, каждый день засчитывается за три... Труд — великая сила, в нашем государстве особенно! Только возьми себя в руки, забудь обиды и работай... Все будет хорошо!»

С каждым моим словом Борис мрачнел все больше и больше, уходил в себя... В его жестком взгляде, устремленном на меня, читались стыд и презрение. Наконец он не вытерпел: «Пошел вон отсюда, болван! Позови мать».

Господи!.. Какой я еще был мальчишка, теленок, смотревший на мир сквозь «розовые очки»!.. Да и не я один — большинство были такими. Так нас воспитали лицемерные вожди! Жизнь страны мы воспринимали прежде всего через ликование первомайских площадей, через физкультурный, хоровой энтузиазм праздничных стадионов!..

С искренней верой и простодушием мы лихо распевали побасенки Лебедева-Кумача... Мы многого не знали! Не знали, не ведали, что в стране, «где так вольно дышит человек», тюрьмы уже под завязку набиты сотнями тысяч таких же, как и мы, ликующих жертв.

Последнее прощание с братом каленым железом вечно жжет мою совесть!

Дома, когда мы вернулись со свидания, мать показала несколько исписанных листков папиросной бумаги, переданных ей Борисом тайно от надзирателя при прощании. Она нашла их на дне корзины, в которой носила ему передачу.

— Вот, сынок, прочти!.. Боря передал.

Очень мелким, убористым, но хорошо разборчивым почерком, экономно используя каждый сантиметр дефицитной бумаги, Борис хладнокровно анализировал ситуацию, в которой оказался он и другие заключенные.

Он почти не писал о себе, не жаловался. Со свойственным ему аналитическим складом ума, он, как хирург, вскрывал весь ужас увиденного и пережитого в застенках внутренней тюрьмы НКВД... Рисовал картину полной незащитности арестованных перед произволом слепой силы, когда тщетны любые доводы разума и логики, когда из подследственных издевательством и пытками выбивают угодные следствию «признания» и «показания», достаточные для последующего осуждения.

Писал он и о самих методах, применяемых на Шпалерке, сравнимых разве что с методами гестапо, о которых охотно сообщали наши центральные газеты, как о примерах чудовищного вандализма и надругательства над человеческой личностью.

Борис, рискуя жизнью, задался целью передать на свободу предостережение всем, кто еще обольщался благородной деятельностью органов НКВД по «выкорчевыванию врагов народа». Всем, кто мог оказаться в его положении (а мог оказаться каждый!), он пытался раскрыть глаза на истинное положение дел в этом ведомстве.

Но все это я понял гораздо позже... Тогда же прочитанное показалось мне невероятным и страшным. Показалось настолько неправдоподобным и кошмарным, что я усомнился в психическом здоровье брата: только воспаленный ум мог родить такие мрачные фантазии. Бедный Борис!.. Наверное, нервное перенапряжение, вызванное атмосферой тюрьмы, так печально повлияло на него.

Потрясенный, я тут же под неодобрительным взглядом матери в страхе сжег его записки в печке.

— Напрасно, сынок, напрасно... Прочитал бы как следует, повнимательнее. Кто знает, может, и пригодится в жизни.

Слова матери оказались пророческими. Очень скоро я убедился в этом.

Сразу после осуждения брата со всех нас, живших в одной квартире с ним, сначала была взята подписка о невыезде из Ленинграда, а вскоре, летом 1937 года, последовала и высылка в Казахстан. В ответ на мой отказ уехать мне было заявлено: «Не поедешь — посадим!»

Ровно через год свое обещание НКВД сдержало.

В 1943 году, в Воркуте, не выдержав непосильной работы в угольной шахте, Борис умер от дистрофии.

После реабилитации, приехав в Воркуту, я пытался установить место захоронения брата. Получил справку: «Умер в мае 1943 года. Место захоронения не сохранилось в связи с бурной застройкой города».

В возрасте тридцати лет ушел из жизни еще один честный, талантливый человек, который мог стать гордостью России, вторым Королевым, не случись беды.

С начала тридцатых годов Борис был одержим идеей создания реактивных двигателей. Учась в университете, он сутками просиживал над расчетами и чертежами... Единственной его страстью была математика! И, конечно, не случись преступного ареста, он нашел бы в конце концов дорогу к своим единомышленникам, к группе Цандера — пионерам ракетной техники.

Бездарные правители, подмятые полусумасшедшим Сталиным, погубили еще один светлый ум, загубили еще одну бесценную человеческую жизнь!

Мой брат был скромным, чистым, честным человеком, и никакой суд не убедит меня в его виновности. Первые двадцать два года моей жизни прожиты вместе с ним — кому, как не мне, знать его!

В настоящее время в прокуратуре СССР находится наше заявление о пересмотре «дела» брата, о посмертной реабилитации его честного имени.

Недавно, перебирая старые бумаги, я наткнулся на черновик «протеста-жалобы», написанной мною в свое время и отвергнутой начальством по причине «непочтительности тона», допущенного в адрес органов НКВД.

Мне неожиданно пришла идея: а не поместить ли эту «протест-жалобу» вместо предисловия, удовлетворив тем резонное любопытство всех, кто интересуется детективной стороной семнадцатилетнего периода моей жизни на Севере?.. К тому же такой вариант придаст и некоторую документальность предисловию, что никогда не лишне, когда пишешь о себе. Я решил опубликовать.

Невольно вспомнилась и вся история написания этой жалобы... Норильск... Осень пятьдесят третьего. Уже позади смерть Сталина, низложение Берии и иже с ним... Уже сменилось правительство. И только в судьбе ссыльных по-прежнему никаких перемен, никаких надежд... И вдруг вызов в МВД. Норильска.

— Жженов! Пиши жалобу о снятии с тебя ссылки. — Это говорит полковник МВД, начальник отдела по делам ссыльных.

После долгой паузы отвечаю:

— Никаких жалоб никогда не писал и не буду писать. Я прошу не пощады, а восстановления справедливости... Протестов и заявлений за пятнадцать лет написал сотню — и все без толку!

— Пиши в сто первый раз.

— Не буду. Надоело. Не верю вам... Никому не верю.

— Как знаешь!.. Нравится быть ссыльным — пожалуйста! Уговаривать не буду, живи как знаешь.

Полковник был далеко не из худших. Поговаривали, что он работал в центральном аппарате НКВД. После конфликта с Берией угодил в Норильск. Норильск для него — своеобразная ссылка, опала, и здесь он нередко действовал по-человечески.

Однажды дирекция театра сдуру поувольняла всех ссыльных артистов из театра, как политически неблагонадежных... Полковник вступился за нас, своих «подопечных», и заставил восстановить всех.

Другой случай.

Режим содержания ссыльных в Норильске обязывал нас являться на свидание к «куму» два раза в месяц.

В эти дни, на глазах у всего города, независимо от погоды, мы часами простаивали в очередях, напоминавших нынешние позорные очереди за водкой, чтобы, сунув в открытое оконце конторы свой «конский паспорт», получить его обратно с отметкой «явлен», удостоверенной собственноручной подписью «кума». Надо ли говорить, как норильская ссылка ненавидела эти числа месяца!..

Нежданно-негаданно мне крупно повезло, благодаря полковнику. Он истинно по-королевски отблагодарил меня за фотографии его детей, снятых мною.

Когда я категорически отказался от предложенных за работу денег, полковник взял мое удостоверение ссыльного и в фразе «Обязан каждое первое и пятнадцатое число месяца являться на отметку» вычеркнул пятнадцатое число!.. О большем подарке я и не мог мечтать! На радостях пошутил тогда: «Может быть, вы заодно и первое число вычеркнете?..» — «Сие не в моей власти!»

Заявление я в конце концов написал. Писал долго, обстоятельно. Мучительно вспоминал малейшие подробности, как предшествующие аресту, так и происходившие потом. Называл все своими настоящими именами. Не забывал и о том, что многим рискую, не стесняясь в выражениях.

Полковник прочитал написанное и сказал:

— Слушай меня внимательно. Твою дальнейшую судьбу буду решать не я, наблюдавший тебя эти годы и как артиста и всяко, будут решать другие люди. Поэтому пойми следующее: «заявление-протест» для них единственный источник сведений о тебе. По нему будут судить о тебе настоящем, каков ты есть сейчас, после пятнадцати лет репрессий. И примут то или иное решение. Резким тоном своего заявления ты вредишь себе и никому больше... Нельзя все валить в одну кучу!.. Обвинять в преступлениях всех, кто служил и служит в органах. В органах такие же люди, как и везде. И хорошие и плохие — всякие. Далеко не все приветствовали методы Берии и его компании... Многие поплатились за это. Ты ничего об этом не знаешь!.. Нельзя огульно судить всех — это несправедливо. Своим «протестом» ты оскорбил и меня! А я служу в органах не один и не два десятка лет... Нельзя так! Иди и перепиши все, начиная с заглавия... Протестующее начало в твоём «сочинении» неприятно превалирует над всем остальным... А для комиссии ты — понимающий желаннее, чем ты — протестующий! Понял меня?

Только с третьего захода полковник принял наконец «заявление-жалобу», пожелав мне «ни пуха ни пера».

Через полгода меня освободили из ссылки. Я покинул Норильск и вернулся в Ленинград.

А 2 декабря 1955 года определением военного трибунала Ленинградского военного округа я был дважды реабилитирован и в возрасте тридцати восьми лет начал свою профессиональную жизнь актера сызнова, как говорится — с нуля!

Начальнику Управления МВД гор. Норильска тов. Дергунову.
Ссылный-поселенец Жженов Г. С. Норильск. Драм. театр.

ЖАЛОБА-ЗАЯВЛЕНИЕ

Убедительно прошу вас содействовать мне в хлопотах о снятии с меня ссылки.

В ссылке нахожусь пятый год. Четыре года работаю в Норильском драматическом театре, артист.

Добросовестность моей работы может быть подтверждена производственной характеристикой, моей трудовой книжкой и отзывами зрителей.

Женат. Дочь, 1946 года рождения, находится в Ленинграде, у моей матери.

Матери 74 года. Жизнь ее держится лишь на надежде увидеть наконец своего сына свободным. Тем более что я единственный из трех сыновей, оставшихся в живых после войны. Старшего моего брата — Сергея, в Мариуполе, на глазах у матери, расстреляли немцы в 1943 году. Средний брат — Борис, умер в исправительно-трудовых лагерях Воркуты, в 1943 году (тиф, дистрофия).

Отец умер в 1940 году, в Ленинграде.

Продлить и поддержать жизнь матери я смогу, только освободившись из ссылки.

Мои родители, бывшие крестьяне бывшей Тверской губернии, еще до революции переехали на жительство в Петроград. Там я и родился в 1915 году.

За пятнадцать с лишним лет из своих тридцати восьми, что я мыкаюсь по тюрьмам, лагерям и ссылкам, — всей своей жизнью и работой, — безуспешно пытаюсь доказать, что я честный человек, гражданин своей страны, ничего общего не имеющий с тем политическим преступником — «шпионом», которым меня сделали в НКВД, в 1938 году.

Шестнадцатый год я бью лбом стены, пытаюсь восстановить справедливость, добиться пересмотра моего «дела».

Мое жизненное несчастье — арест в 1938 году — это акт подлости негодяев и карьеристов, прорвавшихся к власти и в органы НКВД.

Факт, послуживший поводом для обвинения и дальнейших репрессий, ни по каким законам цивилизованного общества не мог являться преступлением.

Сообщаю биографические сведения о себе и о существе дела.

Родился в 1915 году, в Петрограде. Окончил семь классов трудовой школы.

В 1930-1932 гг. учился в Ленинградском эстрадно-цирковом техникуме. Одновременно работал в цирке акробатом.

С 1932 по 1935 год учился в Ленинградском театральном училище, совмещая учебу со съемками на к/студии «Ленфильм». Сыграл ряд ролей в кинокартинах: «Ошибка героя», «Чапай», «Наследный принц республики», «Золотые огни», «Комсомольск». В 1935 году, окончив училище, продолжал сниматься в фильмах.

В декабре 1936 года мой брат Борис Степанович Жженов, студент Ленинградского университета, был арестован органами НКВД ЛО и весной 1937 года был осужден Ленинградским областным судом по статье — 58-1а, сроком на семь лет, за «антисоветскую деятельность и террористические настроения».

Отца, мать и трех моих сестер, живших в одной квартире с братом, выслали в Казахстан.

Ордер на высылку был предъявлен и мне.

В 15-м Василеостровском районном отделении милиции Ленинграда я заявил, что считаю незаконным решение о моей высылке и что в высылку не поеду. Мне ответили: «Не поедешь — посадим» и взяли подписку о невыезде из Ленинграда. Так как в это время я снимался в фильме «Комсомольск», где играл одну из ролей, и обязан был ехать на съемки в город Комсомольск-на-Амуре, дирекция к/студии «Ленфильм» обратилась в Управление НКВД ЛО с просьбой разрешить мне отъезд на съемки. Разрешение было получено.

16 июля вся наша киногруппа, во главе с режиссером Герасимовым С. А., выехала из Москвы на Восток.

За шесть суток пути скорого поезда «Москва — Владивосток» все пассажиры, естественно, перезнакомились друг с другом.

Артисты — народ веселый, всегда вызывающий к себе повышенный интерес и внимание окружающих. Тем более — среди нас были уже знаменитые, популярные артисты: Николай Крючков, Петр Алейников, Иван Кузнецов и другие... Все мы были молоды, беззаботны, — шутили без конца, смеялись, играли в карты, пели песни, дуррачились — одним словом, всю дорогу до Хабаровска веселили не только себя, но и всех, кто охотно посещал нашу компанию.

Среди поездных знакомых, ехавших с нами в одном вагоне, был американец Файмонвилл *. Он ехал во Владивосток встречать какую-то делегацию своих соотечественников.

* В «деле» Г. С. Жженова американец назван Файвонмилем.

Файмонвилл, как и остальные пассажиры вагона, не только терпел шум, производимый нашей компанией, но и сам охотно принимал участие во всех наших дурачествах и играх. К тому же Файмонвилл прекрасно говорил по-русски.

Нам безразлично было — американец он, негр или папуас! Иностранцев мы рассматривали исключительно с точки зрения наличия хороших сигарет.

В Хабаровске мы распрощались с нашими попутчиками, поскольку дальнейший наш путь лежал по Амуру, пароходом.

Вторая «преступная» встреча с Файмонвиллом состоялась через полтора месяца в Москве, на вокзале, в день возвращения нашей киногруппы из экспедиции. Файмонвилл с этим поездом встречал кого-то и, увидев нас, поздоровался, и мы в ответ шумно, со смехом приветствовали его как «старого знакомого».

И последний раз я видел Файмонвилла через несколько дней в Большом театре, на спектакле «Лебединое озеро». Со мной были мои друзья — Вера Климова и ее муж Заур-Дагир, артисты Московского театра оперетты. В антрактах мы разговаривали с ним о балете, об искусстве вообще, курили сигареты (его сигареты).

Прощаясь в этот вечер с Файмонвиллом, я пожелал ему здоровья, поблагодарил за внимание, сказал, что уезжаю домой, в Ленинград, короче говоря, как мог, вежливее дал понять, что эта встреча с ним последняя. На мои дипломатические зигзаги он ответил: «Пожалуйста. Вы не первый русский, который прекращает знакомство без объяснений. Поступайте как вам угодно, — хотя я и не понимаю этого».

Что я ему мог ответить? Что иностранцев мы боимся как черт ладана? Что в стране свирепствует шпиономания? Что люди всячески избегают любых контактов с ними, даже в общественных местах, на людях, в театрах?.. Я предпочел промолчать.

Вот и все мое знакомство с этим человеком. Никогда больше я его не видел и ничего о нем не слышал.

Прекратил знакомство не потому, что убедился в преступных намерениях этого человека, — Файмонвилл не давал ни малейшего повода заподозрить его в злом умысле, он всегда был вежлив, тактичен и никогда не касался в разговоре никаких тем, кроме общих разговоров об искусстве, кино и театре.

Я же не допускал и мысли, что могу в чем-то преступить норму поведения советского артиста и гражданина, — поэтому это случайное, всегда проходившее на людях, краткое знакомство не могло родить во мне ни малейших подозрений и страхов. Я был типичный молодой артист, окрыленный первыми творческими успехами в кино и рвавшийся в дальнейшую работу. Жизнь для меня была самой прекрасной и светлой!

Я был молод, наивен, упоен жизнью и уверен в своей лояльности гражданина СССР.

В октябре 1937-го я вернулся в Ленинград. В особом отделе 15-го отделения милиции мне сообщили о прекращении моего дела, разорвали при мне подписку о невыезде, пожали руку и сказали: «Живи и работай!»

И я жил и работал вплоть до 4 июля 1938 года.

Ночью 5 июля я был арестован. Мне было предъявлено обвинение в преступной, шпионской связи с американцем.

Действительно имевший место факт моего безобидного знакомства с иностранцем следствием был оформлен как преступный акт против Родины.

Бандиты, вырожденки рода человеческого в офицерских мундирах НКВД всячески принуждали меня подписать сочиненный ими сценарий моей «преступной» деятельности.

Меня вынуждали признаться, что Файмонвилл завербовал меня как человека, мстящего за судьбу брата...

Что я передал ему сведения о морально-политических настроениях работников советской кинематографии... (?!)

Сведения об оборонной промышленности г. Ленинграда и о количестве вырабатываемой ею продукции... (?!)

Сведения о строительстве г. Комсомольска-на-Амуре. (?!)

Даже комментировать эту очевидную чушь не хочется, противно.

Кому и зачем понадобилось из меня — человека, только вступающего в жизнь, полного сил, энергии, желания работать, приносить обществу пользу, — делать преступника?

Рассказываю вкратце, как проходило следствие.

На одном из первых допросов, когда я несколько суток стоял на «конвейере», начальник Отделения КРО спросил меня, почему я упрямлюсь и не подписываю показаний?

Я ответил: «Написанные мною и подписанные мною показания вас не устраивают, — вы их порвали. Показаний же, сочиненных следствием, я не подпишу. Это ложь! Совесть и достоинство не позволяют подписывать ложь». На это он заявил мне: «Слушай меня внимательно. Это я говорю тебе — старший лейтенант Моргуль!.. Ты подпишешь показания не такие, какие есть у тебя, а такие, какие нам нужно. Запомни это. Ты один — нас много!.. Будешь сопротивляться день, два, неделю, месяц — не поможет! Устанет с тобой один следователь, его сменит другой, третий и т. д. Нас много — ты один! Запомни это... Все равно подпишешь, никуда не денешься... И не таких ломали. Уж как-нибудь ты у меня пять лет на Камчатке отработаешь!» — после чего дал мне пинок под зад и выгнал в камеру.

На следующем допросе я спросил: зачем все это? Следователь П. П. Кириленко ответил: «Так надо». Он, вероятно, был человечнее своего начальника, потому что добавил: «Семье контрреволюционера нет места в городе Ленинграде. Надо было не быть дураком и уезжать вместе с родными в высылку, в Казахстан, а не сопротивляться».

Все дальнейшие допросы не отличались оригинальностью. Меня продолжали мучить на длительных допросах без пищи, воды и сна... Я стоял... На мне демонстрировали всякие моральные и физические методы воздействия и запугивания, ничего общего не имеющие с моим юношеским представлением о ведении следствия в советских тюрьмах.

В конце концов сломили, конечно, мою волю, и, отчаявшись во всем, на одном из тяжелых допросов я подписал ложный, сочиненный следствием сценарий моих «преступлений».

Что это, малодушие с моей стороны? Трусость?.. Нет! Это был момент потрясения, глубочайшего отчаяния — мне было все равно, лишь бы оставили в покое.

Очень страшно, когда с понятий Справедливость и Человечность впервые вдруг сорвали все красивые одежды... Мне было только 22 года. Я боялся не физических увечий, нет, — может быть, я и вытерпел бы их — я боялся сумасшествия. Любое сопротивление бессмысленно перед жестокостью! Знать бы, во имя чего ты принимаешь муки — было бы легче!

Нелегко перечислять прелести ежовских допросов, добавлю только, что при следующем вызове к следователю я потребовал зафиксировать мой категорический отказ от подписи под протоколом, полученной насильственными методами принуждения. Мне отказали. В камере я потребовал бумагу для заявления. Мне отказали. Бумагу требовали многие. Мы объявили голодовку — бесполезно. Никто ее даже не зафиксировал. Нам рассмеялись в лицо и пригрозили в случае упорства тюремным карцером.

Лишь в тюрьме «Кресты», куда я был переведен на «консервацию», с трудом удалось получить бумагу для заявлений.

В какие только адреса я не жаловался! Писал на имя начальника тюрьмы, прокурору по надзору, Верховному прокурору, Калинин, Сталину — бесполезно!.. Все мои протесты и жалобы попадали куда угодно, только не в дело. Свидетельством тому следующий случай: осенью тридцать восьмого, когда наконец посадили Ежова, новое руководство НКВД, утверждая себя, сделало попытку или видимость пересмотра некоторых следственных дел.

Меня вызвал новый следователь и... потребовал подтвердить ложный протокол (!!!). Я отказался, в свою очередь потребовав оформить мой отказ протоколом.

В этот момент в кабинет вошли несколько человек комиссии во главе с человеком, к которому остальные относились с особым почтением. Пользуясь случаем, я обратился к этому лицу и повторил свой протест. Я заявил, что неоднократно писал жалобы в разные инстанции.

Этот человек спросил следователя, есть ли в моем деле эти заявления? Явно смутившись, следователь ответил, что вообще они, дескать, есть... но... в деле их... сейчас нет, — они там... в Управлении.

На это человек, возглавлявший комиссию, ответил: «Чтобы заявления подследственного были не там, а здесь!» — и показал пальцем на мое дело.

Когда комиссия ушла, следователь, замахнувшись на меня чернильницей, заорал, что я его компрометирую, что буду еще в этом раскаиваться, когда снова окажусь во внутренней тюрьме НКВД, и прекратил допрос.

В декабре 1938 года меня действительно перевели на Шпалерку и потребовали расписаться в окончании моего дела.

Я заявил, что до тех пор, пока к делу не будут приобщены мои заявления об отказе от подписи под ложными протоколами, добытыми преступными, насильственными методами, я не возьму в руки ручку.

Мне насильно всовывали ручку в руки, я выбрасывал ее... мне всовывали снова, я снова выбрасывал... Под дикий мат и крики полтора десятков человек меня пытались принудить подписать окончание следствия... Я стоял на своем. Наконец, кто-то из них крикнул: «Да черт с ним! Зря время теряем. Дайте ему бумагу — пусть пишет».

Мне кинули лист бумаги, и под хохот и матерщину этих «черных мальчиков», по команде старшего оказывавших на меня психическое воздействие, я кое-как, зажав уши, чтобы сосредоточиться, — написал отказ.

Думаю, что усилия мои были напрасны. Тогда следствие произвольно перенумеровывало страницы дела, выдирая из него любое, что было неудобно, и внося то, с чем не хотели знакомить подследственного. Я был неопытен, подавлен морально — обмануть меня было не трудно.

И все же у моих мучителей что-то не получалось. Прокуратура дважды возвращала мое дело на доследствие и переследствие, вместо которого меня принуждали подтвердить ложные протоколы и подписать окончание дела.

Весной тридцать девятого начальник тюрьмы «Кресты» и тюремный врач, искавший на моем теле следы побоев, хором пророчили мне свободу. Тот факт, что я долго мотаюсь между двумя тюрьмами, говорили они, — хороший признак! Значит, трибунал мое дело бракует, не принимает к слушанию.

«Хороший признак» завершился постановлением внеконституционного судилища, именуемого Особым совещанием НКВД СССР, заочно отправившего меня на пять лет в исправительно-трудовые лагеря.

Старший лейтенант Моргуль, предсказавший мне пять лет Камчатки, ошибся только в географических подробностях, — меня этапировали на Колыму.

Ирония судьбы! В это же время мои родители и родные были возвращены из высылки. Ее признали незаконной.

Дальше следует: Колыма... Золотые прииски... Война. Конец заключения в 1943 году. И новая официальная бумага с гербами, — и еще двадцать один месяц лагеря...

26 марта 1945 года, решением начальника УСВИТЛа Драбкина и прокурора войск МВД, за хорошую, добросовестную работу, я был условно-досрочно освобожден из лагеря.

До декабря 1946 года работал в Магаданском заполярном драматическом театре.

Весной 1947-го вернулся на «материк». Приехал в Москву за назначением на работу.

Статья 39 положения о паспортах, стоявшая в моем паспорте, запрещала право жительства в сколько-нибудь крупных промышленных городах, где есть киностудии.

По ходатайству моего учителя Герасимова Сергея Аполлинариевича меня направили работать в Свердловск, на к/студию художественных фильмов.

По личному разрешению секретаря Свердловского обкома партии я получил временную прописку в г. Свердловске. На киностудии начал сниматься в фильме «Алитет уходит в горы».

В 1948 году к/студию художественных фильмов в г. Свердловске ликвидировали, производство фильма передали в Москву, где мне запрещалось жить с 39-й ст. в паспорте.

На актерской бирже в Москве я нанялся работать в г. Павлов-на-Оке в местный драмтеатр.

2 июня 1949 года, в Павлове-на-Оке, я был снова арестован. Шесть месяцев ел тюремную кашу в г. Горьком, надоевшую мне и раньше на всю жизнь, и снова, волею бессмертного Особого совещания, отправился через всю Россию в ссылку — медленно и за счет государства.

Сейчас работаю в Норильском драматическом театре. Опять, как и в Магадане, играю роли советских героев — людей честных, принципиальных, смелых!

Мой суд — зритель! Его одобрение и аплодисменты — плата за труд, за те положительные идеи, которые я, человек и артист, стараюсь донести до зрителя.

Советский театр — просветительное, культурное учреждение, призванное нести идеи государства, идеи гуманности, идеи коммунизма. Я один из творческих работников этого учреждения в Норильске.

«Человек познается в труде!» — сказал Горький. Так почему же в самом главном — творческом труде мне — ссыльному — верят, а в гражданских вопросах нет?

При любом самом малом конфликте, разности точек зрения, споре — сразу ставится под сомнение моя политическая благонадежность. Все время я ощущаю в некоторых людях желание дискредитировать меня морально и профессионально. Сыграть на положении ссыльного легко. Недоверие — обидное и незаслуженное — сквозит во всем: в отношении руководства, в отношении части товарищей по работе, в обидном замалчивании результатов моего труда и т. д. Включая существующий факт гласного надзора МВД.

Шестнадцатый год я заявляю, что я не преступник! Не бывший преступник, а был, есть и останусь честным человеком, гражданином своей страны.

Поймите, что нет ни моральных, ни физических сил терпеть дальше эту бессмысленную ссылку.

Прошу понять меня и помочь в моей просьбе. Снимите с меня ссылку.

15 декабря 1953 года Норильск
Жженов Г. С.

ДЕТСТВО

Родился я в Петрограде на Большом проспекте Васильевского острова в красном каменном здании родильного дома между 15-й и 16-й линиями, 22 марта 1915 года.

Себя в этом «прекрасном и яростном мире» начал помнить лет с четырех, по возвращении из деревни, куда, по рассказам матери, нас с братом Борисом увезли из холодного и голодного Петербурга в связи с революцией.

Мои родители — Мария Федоровна Щелкина и Жженов Степан Филиппович были родом из села Кесова Гора и деревни Демидово бывшей Тверской губернии. Кто из села, кто из деревни — не помню... Там крестьянствовали наши деды, бабки и прочие «сродственники». Вот туда-то, на картошку, которой было еще достаточно в деревне, и отправляли нас — молодь — по мере того как мы, появившись на свет божий, выросли и уступали место у материнской груди следующему младенцу. А появлялись мы на свет с поразительной регулярностью, один за другим ровно через два года. Сергей — 1911 год, Борис — 1913 год, Егор (это я) — 1915 год, Надежда — 1917 год, Вера — 1919 год... Дальше производство Жженовых прекратилось то ли в связи с трудностями, рожденными двумя революциями, то ли в силу неведомых мне тогда биологических закономерностей. Да и сколько можно?! Кроме родных сестер и братьев у меня уже имелись и сводные по отцу сестрички: Анастасия, Прасковья, Мария, Клавдия и Софья... Софья ушла из жизни рано. Ее место в этом мире занял я, и надолго.

Первые самостоятельные впечатления, сохранившиеся в моей памяти, относятся ко времени возвращения из деревни в Петроград. Деревню не помню совершенно. Бабушка рассказывала, что часто «пек колобки», то есть часто забирался на теплую печку и подсушивал там штанишки, поскольку основной нашей пищей была картошка и бегали мы всегда со вздутыми, ослабевшими животами. В памяти, как в копилке, сохранились обрывки разных эпизодов того времени, часто не связанные между собой ни по времени, ни по смыслу.

...Серые булыжные мостовые улиц милого моему сердцу Васильевского острова... Арочные подворотни домов с огромными каменными тумбами по бокам — место ежевечерних сборищ молодежи. В нэповские годы здесь пели под гитару хулиганские есенинские песни, задирали прохожих, пили для куражу, дрались, лущили семечки, соревновались в ухарстве и доблести и мечтали о романтике моряцкой совторгфлотской жизни...

Здесь, на Васильевском, прошли мое детство, моя юность! Здесь пролетели первые двадцать два года моей жизни...

В памяти остались даже запахи... Запахи огромного приморского города!.. Запахи набережных, кораблей, бульваров, осенних парков, рынков и весеннего талого снега... И совсем новый для меня, мальчишки, запах таинственного города... Скученного человеческого жилья. Запах сырых петроградских домов, запах кошек на затхлых черных лестницах... Парадные двери в квартиры после революции, как правило, были еще заколочены... Запах подвальной плесени и сырых дров... ну и, конечно же, сказочный запах чердаков, куда осторожные люди на случай внезапного обыска сносили после революции все, что могло как-то компрометировать их перед новой властью.

Чего только мы не обнаруживали там!.. Винтовки, шашки, гранаты, револьверы, ящики с патронами, пулеметные ленты, разрывные пули, штыки, гильзы... Подобно археологам, мы откапывали из-под балок чердачных перекрытий всевозможные царские ордена, медали, жетоны, связки фотографий и документов, орденские ленты,

«керенки», цилиндры, корсеты, канотье и кивера, генеральские и офицерские мундиры, эполеты, погоны, аксельбанты и прочее, и прочее.

Весь этот «реквизит» старого мира появлялся потом в наших квартирах, наводя ужас на наших родителей, стреляя, «пшикая» и взрываясь в кухонных плитах, а частенько и вовсе разнося их вдребезги. Вслед за пальбой в квартире возникали, как в сказке, милиционеры и суровые дяди в кожанках. Нас, пацанов, сгоняли в одну комнату и поодиночке выдергивали на допрос с пристрастием... После капитуляции: «дяденька, прости, я больше никогда не буду», — конвоируемые милицией, мы вели суровых дядей на чердаки в наши боевые арсеналы и разоружались, выкладывая противнику все до последнего патрона... Но огорчались мы ненадолго — находили другие клады, и начиналось все сначала... Опасные игры закончились лишь тогда, когда петроградские чердаки и подвалы были очищены от «наследия прошлого» окончательно.

Моя сестра Ната, которой в ту пору было уже лет двадцать, только что стала учительницей. Ее характер, по-моему, вполне соответствовал этому призванию. Она была строга, энергична, требовательна... Любила порядок и ясность. Обожала подчинять и воспитывать. Поэтому на правах старшей из сестер и взялась за нас, мальчишек. С первых же дней по возвращении из деревни нам, Сергею, Борису и мне, предлагалось жить по ее сценарию.

Уходить из дома без разрешения — нельзя! Опаздывать к обеду — нельзя! Заводить случайные уличные знакомства, а также кататься на трамвайной «колбасе» — строго запрещено. Лазать через заборы — тем более!.. Словом, предлагалось вести себя прилично, как подобает воспитанным петроградским мальчишкам. С этой целью моя благонамеренная сестра вывела меня однажды во двор нашего дома и представила двум соседским детям — Русикку и Ириночке — чистеньким, ухоженным, воспитанным пай-детям — сыну и дочери жившего в доме музыканта — скрипача Грибена.

Меня заставили взять моих новых знакомых за руки, и таким образом наша дружба была скреплена навеки. Так, по крайней мере, думала моя умная, но наивная сестра. Откуда ей было знать, что этим церемониалом знакомства и закончилась навсегда дружба с Русиком и Ириночкой. Как говорится, сердцу не прикажешь! Через пять минут после ухода сестры я уже бегал по улице с сыном нашего дворника Хайруллоу, с которым мы и не расставались все двадцать два года моей жизни в этом доме...

Васильевский остров был изрядно заселен немцами еще с петровских времен.

Жили мы на углу Первой линии и Большого проспекта в доме, где помещалась немецкая кирха. В нишах на фасадной стене кирхи стояли во весь рост две гипсовые фигуры святых: святой Петр и святой Павел. В руках одного была книга, в руках другого — ключ.

Святому Петру не везло: мы без конца висли на нем и обламывали ключ. С немецкой пунктуальностью ключ восстанавливался, но мы снова его обламывали с не меньшей пунктуальностью... В конце концов в этом соревновании религии с молодостью победили мы.

Будучи недавно в Ленинграде на улице моего детства, я был приятно удивлен, увидев в руке у апостола вместо ключа все тот же жалкий конец железной арматуры.

Мои родители никогда не жили в согласии, по крайней мере на моей памяти. Причин этому было достаточно. К моменту женитьбы на моей матери отец был уже вдовцом. От первого брака у него осталось пять ребятишек — «мал мала меньше», как говорила моя мать.

Мальчишкой приехав в Петербург, отец поступил в услужение к своему земляку — булочнику, владельцу пекарни. Он бегал с утра до вечера по Васильевскому острову с огромной корзиной, разнося булки по адресам постоянных клиентов, и успевал вечером помогать хозяину в пекарне, мечтая когда-нибудь открыть собственное дело и стать хозяином, выбиться в люди. В «люди» он в конце концов выбился. Залез в неплатные долги, но выбился — стал хозяином. Вскоре женился, жену взял из деревни. Пошли дети. Регулярно через год и все девочки. Жизнь осложнялась. Заботы прибавлялись с каждым днем, с каждым следующим ребенком... Стал попивать. Сначала изредка — счет деньгам знал, особенно когда был трезв — помнил, что в долгах; после смерти жены стал пить регулярно, запоем — правда, запои были еще редки — держался, старался держаться.

Таким его впервые и увидела моя мать, когда отец привез в деревню, после похорон жены, весь свой выводок неухоженных, золотушных сирот, за которыми в городе теперь уже некому было ухаживать, некому приглядеть. Конечно, только щемящее чувство сострадания и жалости могло толкнуть крестьянскую девчонку на брак с вдовцом, да еще с «приплодом» пятерых сопливых ребятишек. Легко ли решиться на такое в семнадцать лет! В семнадцать лет, когда человек сам еще, по существу, ребенок и жизнь ему представляется не иначе как в розовом свете.

Говорят: добрые люди мягкосердечны, слабохарактерны... Моя мать не была такой. Наоборот, она скорее производила впечатление строгой, властной. Сентиментальность была ей несвойственна от природы...

Родившись в деревне, мать с малолетства узнала и полюбила труд. У нее была хорошая голова, трезвый, крестьянский ум. Недостаток образования (два класса сельской школы) с лихвой восполнялся природной одаренностью, — мать была талантливым человеком!.. Умела разбираться в людях. Редко в них ошибалась. Трудолюбие в человеке уважала, ценила превыше всего остального... Весь мир делила на «путевых» и «непутевых». Непутевыми называла бездельников и пьяниц. К ним была подчас даже жестока.

Путевые люди — это прежде всего работающие люди, труженики! Мать любила это слово и часто повторяла его. Для них не скупилась ничем — отдавала, как говорится, последнее... Не ждала, когда к ней обратятся за помощью, — всегда первой предлагала себя, все свои возможности и силы. Все семьдесят восемь лет своей жизни мать не жила для себя, а всегда жила для людей, считая это чуть ли не единственным смыслом своей жизни.

«Все, кто знал тебя или слышал о тебе, вечно помнят и благословляют твое мудрое, доброе сердце — не добренькое, а именно доброе сердце, всегда отзывчиво распахнутое навстречу каждому «путевому»... Твое щедрое сердце, в конце концов растерзанное людской глупостью и жестокостью.

Вечная тебе память, моя прекрасная Мама!»

Нелады между моими будущими родителями начались вскоре после свадьбы, когда отец со своим выводком и новой молодой женой возвратился из деревни в город. Он решил, что свою семейную проблему он разрешил полностью, приобретя в лице молодой одновременно и жену, и мать, а вернее, мачеху для своих пятерых сирот. Все это живое, голенастое «хозяйство» отец с облегчением и удовольствием взвалил на плечи суженой и умыл руки — занялся своими пекарскими делами.

Жил он тогда на Васильевском острове, в гавани, в доме, где помещалась и его пекарня, то ли над ней, то ли под ней... Жили без столичных излишеств, по-деревенски: стол, лавки, несколько табуреток, нехитрый посудный ларь с глиняным и стеклянным скарбом да образа в переднем углу — вот и вся мебель!.. И, как водится, полати от стены до стены, вместо кроватей. На них, как на деревенской печи, как в норе

или в гнезде — спали, ели, играли, ссорились и мирились, подрастали помаленьку все мы — многочисленное семейство Жженовых.

Отец был прижимист, берег каждую копейку — копил. На нужды семьи не обращал никакого внимания — живы, и ладно!

Обедали по старинке: ели из одной общей чашки деревянными ложками, по кругу, начиная с отца и дальше, по часовой стрелке. Надо сказать, что такой порядок в нашей семье просуществовал довольно долго, — уже на моем веку традиция эта еще сохранялась. Хорошо помню, как во время одной такой семейной трапезы я сунулся в общую чашку вне очереди. Отец замахнулся на меня, я увернулся от удара, а мой брат Борис, сидевший рядом, получил вместо меня ложкой в лоб и оказался на полу под образами. Отец держал всех в черном теле. Над первой своей женой имел власть неограниченную. Ни перед кем в своих действиях не отчитывался. Был беспрекословен. Между запоями бывал хмур и молчалив. И, наоборот, в запое громок, болтлив, буен и задирист — его боялись. Боялись все, кроме моей матери. Поначалу мать молча присматривалась к своей новой жизни. Терпеливо наблюдала, соображала, с чего ей лучше начать, как поумнее разобраться в этом дремучем житье-бытье... Постепенно в доме стали чувствоваться ее характер, ее воля. Начались преобразования. Вместо нар появились кровати. Правда, еще не по числу душ, но все же... Старшие наконец-то обзавелись «плацкартой». Малышня умещалась по двое, по трое на кровати. Пришлось отцу раскошелиться и на одежду — никуда не денешься — у старших девочек подошел школьный возраст. Им покупали новое — младшие донашивали со старших — так и жили...

Отец все еще мечтал разбогатеть. Мечтал стать купцом, хоть какой-нибудь гильдии!

Мать растила отцовских девочек и рожала собственных мальчиков. Семейство увеличивалось и увеличивалось... Первые годы, пока доходы еще балансировались с расходами, отец мирился с этим, тянул лямку, терпел... Но вот в доме появилась нужда. А нужда для русского человека первая причина для запоя.

Отец пил лихо, без удержу. Пил месяца по три — гулял во всю силу своего здоровья! Никаких друзей, никаких собутыльников — пил один... под огурец. На конторке, рядом с его кроватью, стояла тарелка с соленым огурцом — единственная закуска на все три месяца запоя. Отец не закусывал, а «засасывал» — огурец, как неразменный рубль, месяцами оставался целехонек.

Все благоприобретенное и накопленное между запоями спускалось. Пропивал и движимое, и недвижимое... В доме появлялись экзотические типы с мешками, из тех, что ходили по дворам и кричали: «Ха-ла-ат... хала-ат!», «Ко-остей — тря-а-пок, буты-лок — ба-а-нок!» В мешках предприимчивых потомков Мамаея исчезали со стен нашей квартиры всякие «излишества», все, что могло быть унесено и продано.

Кульминация этого житейского спектакля наступала, когда со стены снимали часы — из дома уносили время!..

Если эта акция проходила в отсутствие матери, то на этом спектакль и заканчивался. После короткого торга и расчета сторон «янычары» удалялись вместе с добычей восвояси, удовлетворенно бормоча восточными голосами какие-то нерусские слова... Но бывало и так, что в самый критический момент в доме вдруг появлялась рассерженная мать. Обстановка менялась мгновенно. Мать хватала первое, что попадало под руку — швабру, метлу или просто обыкновенную палку, и гнала взашей все это басурманское воинство. Больше всех попадало отцу, хотя он в пьяной ярости и кидался на мать с кулаками, защищая свое мужское право распоряжаться имуществом как ему вздумается.

Мы, мальчишки, конечно, держали сторону матери. Но оказать отцу сколько-нибудь серьезное сопротивление мы не могли по возрасту.

В конце концов пришло время, когда и отец понял, что мать уже не одна, что мы подросли и встали на ее защиту решительно. Связываться и с нами стало опасно и чревато неприятностями для него самого.

Однажды, предупреждая очередной скандал, я сказал ему: «Не лезь к матери — худо будет». Обозлившись на меня, отец замахнулся, но я успел присесть, и рука его, разбив стекло двери, у которой мы находились, по самое плечо оказалась в другой комнате, изрядно кровоточащая. «Я предупредил тебя», — сказал я удовлетворенно.

Другой случай, после которого отец навсегда прекратил драки с матерью. Во время очередного запоя, когда он буйствовал и кидался на всех, мать, защищаясь, швырнула в него фаянсовым заварным чайником и рассекла вену на виске. Отец в ярости кинулся на мать и, наверное, убил бы ее, не окажись мы рядом. Оттащив от матери, мы уложили его на кровать и, так как он продолжал буйствовать, привязали к кровати за руки и за ноги, дав возможность матери безбоязненно промыть рану и остановить кровь. «Выросли, змееныши, матку защищаете...» — говорил его взгляд, когда, затихнув, он ошалело глядел на нас с кровати.

Конец запоя всегда был одинаков. Весь день отец не появлялся из своей комнаты, — его бил озноб, лихорадка, его тряс «колотун». Ни есть, ни пить он не мог, так организм его был отравлен. Жутко и жалко было смотреть на отца в этот момент.

Несколько дней продолжались мучения, пока, наконец, в одно прекрасное утро он не появлялся на пороге комнаты преобразенный, как раскаявшийся грешник, с узелком чистого белья под мышкой — он шел в баню. А вечером — чистый, умиротворенный, тощий до прозрачности, сидел под лампочкой за своей конторкой в комнате перед раскрытой на первой странице, огромной толстой книгой. Книга называлась: «Трезвая Жизнь». Дореволюционное, общедоступное, выпускаемое для простого люда издание, распространяемое обществом трезвенников среди низших слоев общества с воспитательной, благотворительной целью.

Весь промежуток времени между запоями отец читал эту толстую книгу. По количеству непрочитанных страниц мы, как по календарю, всегда знали, далеко ли до следующего запоя. Как только дочитывалась последняя страница, книга захлопывалась, и все начиналось сначала... И так всю жизнь! До самого моего ареста в 1938 году я помню эту книгу в нашем доме.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Мне пятнадцать лет. Уже пятнадцать. Оканчиваю седьмой класс 204-й ленинградской средней школы. Школа наша находилась на Университетской набережной Васильевского острова, в одном из флигелей университета, между основным его зданием и зданием филологического факультета. Чтобы перейти в следующий класс (восьмой), мне необходимо было ликвидировать хвосты по физике и математике. А это непросто, если учесть, что школа наша была с физико-математическим уклоном и уровень требовательности к ученикам соответствовал ее местонахождению. В довершение всего физика и математика являлись теми предметами, которые давно и безнадежно мною были запущены. За прошедший учебный год я не часто одаривал своим посещением эти уроки и, естественно, отстал. Появилась задолженность, родился хвост. Хвосты имеют тенденцию расти, увеличиваться... Ведь как это обычно происходит: сначала не готовился и пропускал уроки бездумно, — ладно, мол, ничего страшного, в следующий раз догоню, выучу. Не догнал, не выучил... Не выучил раз, не выучил два. А дальше стал избегать уроки уже сознательно — стыдно было обнаруживать свою несостоятельность перед товарищами.

К тому же уже тогда я был влюблен в одноклассницу Люсю Лычеву, большеглазую девочку, ради внимания которой совершал массу геройских поступков чуть ли не с первых классов школы, а именно: ...прыгал с парапета Невской набережной в ледяную воду в начале мая, открывая сезон купания в Ленинграде... дрался с «друзьями-соперниками», отстаивая единоличное право сопровождать на каток и с катка голубоглазую ингерманландку... выделял рискованные фортели на уроках физкультуры и на переменах в школьном дворе, стараясь показаться своей королеве эдаким рыцарем — сильным, смелым, ловким, благородным, умным...

Я, скорее, готов был поставить точку на своем общем образовании и уйти из школы, нежели дать своей любимой повод разочароваться во мне.

Словом, весной 1930 года настроение мое было унылым и подавленным. И даже буйная радость, всегда возникавшая во мне с приходом очередной весны, наполняя всего меня телячьим восторгом, не могла отвлечь от впервые заданного самому себе вопроса: как быть дальше?

Раньше подобные моменты растерянности легко разрешали взрослые. Мать в таких случаях говорила: «Успокойся, сынок, все пройдет, все рассосется!»

И вот наступил день, когда ты впервые понял, что ничего не рассасывается, ничего не проходит само по себе; как утихшая зубная боль не освобождает от неизбежного визита к врачу, так и вставший перед тобой однажды вопрос, что делать, рано или поздно потребует обязательного ответа. И никуда от этого не денешься! Вопрос не рассосется, не исчезнет... Скорее наоборот — будет зреть, множиться и в конце концов превратится в проблему, требующую немедленного вмешательства. И когда этот момент наступит, тебе станет ясно, что детство кончилось, улетело безвозвратно...

...Игрушкой с перекрученным заводом
Спит наше детство где-то на полу!..

И как всякий конец есть начало чего-то нового, так и в моей жизни весна 1930 года знаменовала для меня приход следующей поры жизни, отрочества.

Бездумный, веселый, беззаботный этап моего жизненного марафона позади!.. Из школы я ушел, а что дальше?..

Впереди маячили горы.

А ведь совсем еще недавно в голубых небесах моего детства не было ни облачка. Учился помаленьку. Школьными науками себя не утруждал особенно. Для ума и сердца существовали куда более интересные занятия — улица!.. Олимпийский стадион моего детства!

Неизведанный, фантастический, влекущий мир! Звонкоголосое царство босоногой ребятни!

...«Казаки-разбойники», «лапта», «чижик», «фантики», «вышибаловка» и многие, многие другие упоительные игры раннего школьного детства...

Улица — особый мир, начинавшийся сразу же за стенами родительского дома. Это набережные Невы, сады, переулки, рынки, вокзалы, пригороды, взморье и прочие места, где мы носились с утра до вечера, появляясь дома с одной-единственной целью — поесть, да и то на минутку.

Двери в квартиру до самой ночи не запирались. Режимы никакого.

Каждый мог есть, что хотел, как хотел и когда хотел. Для этой цели между наружными дверьми в квартиру всегда ставилась огромная кастрюля щей, свежих или кислых. Чаше кислых (от времени они только хорошели). Щи варились сразу на неделю.

На уровне пола между дверьми стояла плетеная корзинка с сырыми яйцами, щедро пересыпанная конопляной шелухой для сохранности. Чем меньше в корзине

оставалось яиц, тем дольше приходилось искать их и вылавливать, пропуская шелуху сквозь пальцы, как воду.

Матери было недосуг заниматься обедами. Она была добытчицей. Домашними делами занималась разве что в единственный свободный свой день — воскресенье. Все остальные дни недели мать вынуждена была сидеть на Андреевском рынке, у своих горшков и посуды, дожидаясь покупателей. Поражаюсь, как ее хватало на всех нас!!

Одних малолетних иждивенцев набиралось за обеденным столом в воскресенье не меньше дюжины, не считая самих родителей и прочей родни, двоюродной и троюродной...

У матери была врожденная слабость опекать своих земляков. Она половину деревни, наверное, перетащила за свою жизнь в Ленинград. И всех их надо было устроить, приголубить, накормить...

Заботы ее не кончались одним нашим пропитанием... Одежда буквально горела на нас. Особенно не напастись было штанов и обуви.

Любимая игра моей жизни — футбол — чего ей стоила! За месяц-полтора самые прочные башмаки превращались в «воспоминание»... Где только мы не гоняли мячи! На булыжных мостовых улиц (автомобили тогда были редки), в каменных колодцах ленинградских дворов, на бульварах и скверах, в садах, везде... где только можно и нельзя. В те далекие годы везде еще было можно!

Мячи были разные: дорогие сине-красные, с полоской и детские резиновые. Иногда найденные в крапиве за забором футбольного поля настоящие мячи, потерянные взрослыми или «закаченные» у них... Но, как правило, творили мячи сами, из конского волоса и тряпок, завернутых в старые дамские чулки... «Кикали» и просто консервной банкой или деревяшкой, попавшейся под ногу... Такие испытания на прочность под силу разве что водолазным башмакам.

Обычный маршрут от дома до школы чего только стоил матери! Кратчайший путь через заборы и ограды Менделеевского ботанического сада таил в себе не только выгоды, но и опасности: часто кончался «ранениями» в задницу солеными зарядами из берданок университетских сторожей, бдительно охранявших яблони для науки. По клочкам наших штанов на пиках чугунных оград и проволочных заграждениях заборов можно было судить не только о поспешности, но и маршруте нашего бегства.

Осенью 1923-го мы, родившиеся в первую мировую войну, брали на «абордаж» начальные классы петроградских школ, насмерть перепугав добропорядочных и чинных учителей, доставшихся нам в наследство от царских времен. Хотя «доброе царское время» и ушло в небытие, рухнуло, но школы по инерции еще продолжали жить самым академическим укладом... по старым школьным программам. Новое только-только рождалось... Страна жила на перепутье времени!

Кончились гражданская война, военный коммунизм — начался нэп! Полутолодные, полураздетые, мы — надежда и опора молодой Советской власти — сели за школьные парты. На нас рассчитывали в будущем как на первое поколение советской интеллигенции. Через 15-20 лет мы должны будем встать у руля жизни!

Честно говоря, тогда мы не сознавали важности своей грядущей исторической миссии и не шибко чттили своих старорежимных учителей, смотревших на нас, детей улиц, с недоумением и растерянностью (вечная и добрая им память). Я не баловал усердием добронравных учителей. В прилежных учениках себя не помню. Усидчивостью и рвением не отличался. Выше «удовлетворительно» по поведению не заслуживал никогда, но из класса в класс переходил легко, в числе первых. Правда, самым первым так никогда и не стал, всегда хотел, но... Скорее всего, не хватало сосредоточенности на чем-то одном, главном — жаден был до всего сразу!

Не хватало честолюбия! А оно, видно, необходимо человеку, поскольку делает его более энергичным в достижении цели, поставленной перед собой.

Разумеется, я не имею в виду гипертрофированное честолюбие, из которого вырастают страшные люди — карьеристы и демагоги! Люди-уроды, выродки, для которых все средства хороши, лишь бы они вели к удовлетворению собственных амбиций и притязаний.

Монстры, без малейших нравственных тормозов и оглядок, готовые играть судьбами и жизнями честных людей, в усладу собственного тщеславия сметающие всех, кто оказался на их пути к власти! Подонки.

На рубеже своих семидесяти, прокручивая в памяти прожитое, прихожу к грустной мысли, что любителей пожить «сладко», за счет ближнего, к сожалению, не убавилось и сейчас. Скорее, наоборот: потребителей в нашей жизни развелось, как поганок в лесу!

История последних десятилетий не очень-то мягко обошлась с русским человеком (впрочем, не только с русским). Социальные проблемы посленэповского периода, коллективизация, первые годы пятилеток — это время не назовешь легким! Тридцатые годы... В результате пресловутого «культа» и прочих экспериментов не худшая часть русских советских граждан исчезла безвозвратно в таежных топях Сибири и Дальнего Востока, «осваивая окраинные рубежи Родины»...

Отечественная война унесла молодых, лучших... На войне всегда погибают лучшие — цвет нации! Все это так, но... Вроде и война уже далеко позади, и жить стало полегче, а ведь на, поди ж ты?!

Сложное существо человек! Всего в нем понамешано вдоволь — и безобразного, и прекрасного! Наверно, все дело в «почве», в которой находится «homo». Она способна вырастить и ангела, и черта! За ней внимательно наблюдать надо, полоть сорняки, удобрять вовремя, подкармливать, избавляться от вредителей, — глядишь, «урожай» и отблагодарить не замедлит — вырастет ЧЕЛОВЕК!

«Бытие определяет сознание» — никуда от этой истины не денешься! Что посеешь, то и пожнешь!

Один умный человек правильно сказал: если человека поставить на четвереньки и долго держать, он в конце концов захрюкает.

Школьные уроки хорошо делаются в ненастье. Кто же усидит за столом с книгой, когда на небе светит солнышко?!

Моя дочь Юля по этому поводу высказалась так:

Голова уж вконец захламлена
Смесью формул, циклов, цитат
Ох уж эти весной мне экзамены!
Хоть бы кто-нибудь был им рад!

Я сижу и мечтаю: вот если бы...
От дождя посерели стены...
Тут бы кстати приглась и сессия,
Я открыла б учебник толстенный,
Иззубрила бы все до доньшка,
Но ведь солнышко...

Так что и мое интеллектуальное и духовное развитие находилось в прямой зависимости от погоды.

Неустойчивый ленинградский климат лишь благоприятствовал постижению наук. Наверное, поэтому коренных ленинградцев и отличали от всех прочих прежде

всего высокая культура и образованность. Настоящего ленинградца всегда и всюду узнавали с первого взгляда.

В послевоенное время, к сожалению, климат во всем мире сделался неустойчивым, и свое преимущество ленинградцы (увы!) постепенно утратили. Теперь их уже не отличишь от всех прочих горожан России.

Ненастье способствовало также и привычке к чтению. А первое приобщение к искусству, к зрелищам: цирк, театр, кино — конечно же произошло если и не в плохую погоду, то уж, во всяком случае, не днем, а вечером...

Недаром говорят: кино дело темное!

Не только темное, но и тихое — «Великий Немой» еще не заговорил. Это чудо произойдет чуть позже, через несколько лет.

Пока еще Мустафа не получил свою «путевку в жизнь»!..

Я не помню первых своих впечатлений от кинематографа, но что это произошло в кинотеатре «Яр», убежден абсолютно.

«Яр» — Мекка наших кинематографических странствий!

Зажатый между двумя жилыми домами на 7-й линии Васильевского острова, между Большим и Средним проспектами, он находился рядом с кинотеатром «Форум», через бульвар от Андреевской церкви, куда водили нас по престольным праздникам наши родители, скорее в силу традиции, нежели по убеждению.

«Форум» был нам не по карману, и мы его презирали. Тем более что детей не всегда пускали в него даже с билетами.

Мы, василеостровские пацаны, любили «Яр»! С курчавым тапером за плохоньким пианино, с длинным, как кишка, залом человек на двести, без всякого фойе, с кассой, выпирающей на тротуар улицы. В ней восседала громадная, как комод, раскрашенная нэпманша Рая, жена хозяина. Звали хозяина Исай Матвеевич, по прозвищу Мотя.

Мотя не пекся о нашей целомудренности, как в «Форуме», и пускал к себе в «Яр» в любое время и на любую картину почти бесплатно. Делал он это виртуозно!.. Разжимал наши потные кулаки с зажатой в них мелочью и вытряхивал все в кассу, не интересуясь количеством. Накопив жаждущих достаточно, он открывал дверь в зрительный зал и быстро загонял всех в темноту, предоставляя право самим искать себе место.

Обычно сеанс начинался с видовой картины, по-теперешнему с научно-популярной или хроникальной. Затем шла короткометражка, — чаще всего это была веселая и комическая лента.

В этот момент Мотя и ухитрялся запускать в зал следующую порцию. Он был хороший психолог: когда зрители смеются, их меньше раздражают опоздавшие...

Кончалась короткометражка, на время зажигался тусклый свет, в зал вваливалась последняя порция опоздавших — и пацанов, и взрослых, свет медленно угасал, и начиналось, наконец, самое главное...

Зрелище, ради которого мы готовы были забыть все на свете, даже футбол!..

Готовы были бесконечно сидеть на грязном полу в проходе набитого до отказа тесного зала частной «киношки», заплыванные семечками, потные, с судорожным от сперттого воздуха дыханием, как у выброшенной на берег рыбы, замороженно, с открытыми ртами глядя на четырехугольник белой простыни на стене, волшебным образом уносившей нас в экзотические страны...

В пульсирующем луче «Великого Немого» на экране возникали картины манящих к себе таинственных миров, населенных красивыми женщинами, мужественными, сильными и великодушными мужчинами, не щадившими своих жизней во имя справедливости, добра и любви...

В те благословенные времена зло еще всегда наказывалось, даже в заграничных фильмах. Тогда это еще было законом искусства!

Это уже далеко потом, в послевоенные десятилетия, мировой кинематограф делается чем-то вроде справочника-путеводителя «сладкой» жизни — учебного пособия по ограблениям и убийствам.

Сколько юнцов, соблазненных изощренной пропагандой человеконенавистничества, замуфлированного под добродетель, сыплющегося, как из рога изобилия, с экранов мира на головы и души обывателей, примут «философию» летящего в пропасть безумного мира!..

Все эти соблазнительные киноужасы не пройдут человечеству даром — аукнутся по всему миру!.. Да еще как!..

Послевоенный мир, как проказой, оказался пораженным насилием и жестокостью! Порнографией, сексом, наркоманией!..

И надо честно признаться, что наряду с социальными причинами несправедливой устроенности мира не последнюю роль в этом, к сожалению, сыграл и кинематограф, со своей грандиозной силой воздействия на человека, и на молодежь особенно.

Ведь далеко не случайно многие преступники, бравирюя перед следователями своими «художествами», ссылаются на кинематограф, как на пример, как на первого учителя по технике совершения преступления!

Не следует забывать, что часто подобная кинопродукция создается действительно талантливыми, одаренными в искусстве кинохудожниками. Отсюда степень пагубного влияния на умы и души удесятывается!

И по меньшей мере «страусовой» позицией являлось утверждение некоторых наших маститых социологов, что нас, Советский Союз, это не касается!.. Дескать, это проблема «гнилого Запада», Америки!.. Такая точка зрения является чистойшей демагогией, если не преступлением перед страной!.. Касается, да еще как! Так же, как малейшее колебание курса валюты на мировой бирже немедленно вызывает изменение финансовой «погоды» во всем мире (и социалистическом в том числе), так и власть мирового кинематографа безгранична!

Всякие разговоры относительно обособленности социалистического киноискусства — демагогия! Никакие расстояния в наш космический век, никакой «железный занавес» не спасут! Все в мире взаимосвязано.

...Кончается очередной сеанс.

Зрители умиротворенно покидают «киношку», оставляя возле своих мест на полу память о себе — кучи подсолнечной шелухи...

Все двадцатые годы процветала мода на семечки. Их щелкали все, и стар и млад! С восхода солнца и до захода!.. Везде: дома, на работе, на бульварах и в трамваях... Обязательно — в местах массовых гуляний, на площадях и, конечно, в театрах и кинематографах...

Шелестящий шум подсолнечного прибоя, подобно «Девятому валу» Айвазовского, носился по василеостровским проспектам, оседая в порывах холодного балтийского ветра серым хрустящим ковром под ногами на истоптанной зелени бульваров и под стенами домов...

На каждом углу улицы, особенно у входа в кинематограф (тогда не говорили «кинотеатр»), стаи торговков семечками бойко ссыпали в подставленные, оттопыренные карманы идущих в кино и из кино покупателей стаканы жареного зелья.

Васильевский остров — далекий мир детства!.. Малая родина моя!

Окончив семь классов средней школы, я решил, что хватит в моей жизни наук, пора заниматься делом. Лет мне было всего только пятнадцать, поэтому, «одолив» документы у старшего брата Бориса, я кинулся поступать учиться на веселых, ловких, сильных, смелых «сверх-человеков», живущих в фантастическом мире цирка!

Какой мальчишка не бредит цирком! Не летает во сне, как птица, под куполом, не крутит немыслимые сальто-мортале в залитом электрическим светом, сверкающем, манящем кольце циркового манежа!..

Осенью 1930 года Ленинградский эстрадно-цирковой техникум пополнился еще одним студентом — Борисом Жженовым. Я был принят на акробатическое отделение.

Из Бориса снова превратиться в Георгия не составило труда, мне этот «фокус» простили.

Уже через год вместе со своим однокашником Жоржем Смирновым мы репетировали каскадный эксцентрический номер — «китайский стол» и начали выступать в Ленинградском цирке-шапито, как «2-ЖОРЖ-2», в жанре каскадной акробатики.

В цирке меня и «подсмотрели» киношники. Пригласили на киностудию «Ленфильм». Предложили сниматься в главной роли тракториста Пашки Ветрова в фильме «Ошибка героя».

На кинопробу взята была сцена объяснения в любви, с объятиями и поцелуями...

Мне не было еще и семнадцати лет, паренек я был целомудренный, застенчивый, любовного опыта не имел никакого, стеснялся и краснел ужасно. Дрожали руки и ноги, прыгали мышцы на лице... Не то что поцеловать — мне было стыдно взглянуть в глаза своей партнерше... вернее, партнершам. Так как в этот день на единственную женскую роль в фильме пробовалась не одна, а семь молодых и очень красивых, как мне тогда казалось, девушек. Семь молодых актрис!

С одной стороны, это еще больше усугубило мои страдания, с другой стороны, и облегчило: с каждой следующей партнершей я становился увереннее, свободнее, постепенно входил во вкус сцены, впервые познав живую прелесть долгих поцелуев, хотя и исполняемых публично, на людях, вроде бы понарошку, но настоящих до головокружения (кино прежде всего во всем любит достоверность).

Ко мне постепенно возвращалась нормальная пластика. Из манекена, деревянного робота я снова становился живым человеком.

К концу съемки, обнимаясь с шестой-седьмой кандидаткой в невесты, я освоился настолько, что спроси меня, с кем из них мне было особенно приятно играть, я, кажется, смог бы ответить!

Через несколько дней позвали посмотреть первые в моей жизни кинопробы. Увидев самого себя на экране, я пришел в такой ужас, что, не дождавшись конца показа, тихо, пока никто не видел, в темноте исчез из зрительного зала и убежал со стыда из студии. Я так расстроился, что несколько суток не показывался даже домой...

Позже выяснилось: меня искали.

Когда я явился домой, мать, стиравшая белье, подняла голову от корыта и, убедившись, что со мной ничего не случилось, сказала:

— Явился!.. За тобой приходили с «Ленфильма». Они утвердили тебя на что-то. Поздравляли меня. В общем, я ничего толком не поняла.

Так неожиданно для себя из циркового акробата я превратился в киноартиста. Но сила первого впечатления от самого себя жива! Прошло пятьдесят с лишним лет,

а ощущение, похожее на стыд, продолжаю испытывать и теперь, когда вижу сам себя на экране.

Никаких особенных дивидендов фильм «Ошибка героя» не принес советскому кинематографу, разве что явился моим дебютом. И дебютом еще одного артиста — прекрасного артиста Ефима Копеляна.

Снимал фильм режиссер Эдуард Йогансон.

С этого фильма и началась моя бескорыстная любовь к кинематографу, продолжающаяся с некоторой взаимностью уже около шести десятков лет! И тысячу раз правы кинематографисты, говоря: «Кто однажды в жизни понюхал запах ацетона (запах пленки), тот никогда уже от этого запаха не отделается». Всей своей жизнью свидетельствую, что это так! Во всяком случае, всегда, когда право и возможность выбирать профессию принадлежали мне, а не обстоятельствам, я возвращался в кинематограф.

Так впервые я поступил и тогда, в 1932 году, когда оставил после фильма цирк и поступил учиться на киноактерское отделение Ленинградского театрального училища к педагогу, ныне всемирно известному кинорежиссеру Сергею Аполлинариевичу Герасимову.

Ядреный запах манежа, запах здоровья я, не раздумывая, променял на запах ацетона!

А нежные чувства к цирку — при мне. Храню их всю жизнь, как первую любовь!.. Как юношескую романтическую попытку приобщения к прекрасному миру искусства.

АРЕСТ

Впервые в жизни я испытал настоящий страх ночью с 4 на 5 июля 1938 года.

В эту трагическую для меня ночь, возвращаясь домой, я увидел в створе открытой входной двери в мою квартиру дремлющего на сундуке под зеркалом нашего управдома рядышком с моей женой. Когда я, еще ничего не понимая, прикрыл за собой дверь, в поле моего зрения оказались еще двое: красноармеец с винтовкой и командир в форме НКВД. Оба вымокшие до нитки, у обоих под ногами по луже воды: на дворе гроыхала гроза. У командира в руке были свернутые трубочкой какие-то бумаги.

Управдом, кивнув на меня, сказал:

- Он.
- Фамилия? — спросил командир.
- Жженов.
- Имя?
- Георгий.
- Отчество?
- Степанович.
- Год рождения?
- 1915-й.

Командир сверил ответы с данными в бумаге.

— Разрешите пройти в комнату. Вот ордер на обыск.

Он протянул мне бумагу, которую все время старался не замочить.

Моя реакция на пережитый страх была совершенно неожиданной: я уснул. Буквально как только начался обыск, я прилег на кровать и уснул... Вырубился, отключился, как отключаются предохранители в электросети, когда напряжение становится угрожающим и неизбежны замыкание, катастрофа.

Как все-таки удивительно и сложно создан человек!

Проснулся я, когда уже брезжил рассвет. Жена тихонько трогала меня за плечо и говорила: «Вставай, переоденься...» Обыск закончился.

— Подпишите акт, — сказал командир и добавил: — Вам придется поехать с нами.

— А ордер на арест у вас есть? — спросила жена.

— Конечно, а как же! — Командир раскрутил трубочку и вытащил еще одну казенную бумагу. — Пожалуйста.

Надо отдать должное: все формальности, связанные с обыском и арестом, были соблюдены. Все шло хорошо, тихо. Казенных бумаг хватало. Все, что следовало подписать, было подписано. Арестант проснулся и молчит — опять-таки хорошо. Вообще все хорошо! Вот разве только сам командир не знал, что же он искал всю эту ночь... Но это уже, как говорится, разговор другой. Важно, что приказ начальства выполнен «как положено». Ночь, слава богу, тоже прошла, уже утро — конец работе, прекрасно! Не придется ехать по следующему адресу.

Перед самым уходом на вопрос жены, надо ли мне что-нибудь взять с собой, командир ответил:

— Зачем? Если невиновен, вернется через несколько дней.

— Нет. Кто к вам попадает, скоро не возвращаются, — печально констатировала жена.

Говорить о том, что мы, ленинградцы, не знали о происходящих в городе массовых арестах, не приходится: конечно, знали. И обсуждали. Правда, в сугубо своем, родственном кругу, да и то с опаской, осторожно. В тридцать седьмой — тридцать восьмой годы мало кто кому доверял. Бывало, отец отказывался от сына, сын от отца, — к сожалению, бывало. Об этом знали, говорили и недоумевали, поражаясь количеству арестов. Но думали как-то умозрительно, как о чем-то происходящем вне нас, вне наших судеб, — поэтому даже в самом страшном сне я и представить себе не мог, что когда-нибудь меня будут ждать в моей квартире вооруженные люди на предмет ареста. И все-таки это произошло... В ночь с 4 на 5 июля 1938 года случился самый страшный страх в моей жизни. Все последующие страхи, а они были, и не единожды, ни в какое сравнение с этим ночным страхом не шли. Поэтому она, эта ночь, и запомнилась в мельчайших деталях и навсегда.

...Запомнилась скорбная поза нашего дворника, сочувственно наблюдавшего, как меня вели под конвоем к ожидавшей у ворот «эмке»...

...Запомнилась и жуткая вежливость командира, предупредительно распахнувшего передо мной дверцу машины...

...Запомнилось и первое теплое, после ненастного июня, чистое, солнечное июльское утро — несчастное утро моей жизни!..

Я, заботливо стиснутый конвоирами, сидел в «эмке», идущей последним прощальным маршрутом с Первой линии моего родного Васильевского острова по набережной самой прекрасной в мире реки Невы, мимо моего детства — Меншиковского дворца, Ленинградского университета, где помещалась 204-я трудовая средняя школа, в которой я учился, и далее, мимо Зоологического музея, Академии наук на Дворцовый мост...

Судьба дала мне возможность попрощаться с бессмертным памятником Расстрелли — Зимним дворцом, Эрмитажем, в последний раз вспомнить Лизу из «Пиковой дамы». Машина прошла мимо Мраморного дворца к Дому ученых, обогнув Марсово поле и решетку Летнего сада, выехала на улицу Воинова (бывшая Шпалерная), пересекла Литейный проспект и остановилась у ничем не примечательных ворот «Большого дома», о котором позже сочинились строчки:

На улице Шпалерной
Стоит волшебный дом:
Войдешь в тот дом ребенком,
А выйдешь — стариком.

По сигналу «эмки» ворота гостеприимно распахнулись и проглотили вместе с машиной все двадцать две весны моей жизни. Такие понятия, как честь, справедливость, совесть, человеческое достоинство и обращение, остались по ту сторону ворот.

В регистрационной книге внутренней тюрьмы НКВД я значился 605-м поступившим в ее лоно в это ясное «урожайное» утро 1938 года.

«КРЕСТЫ»

Опять весна... И опять снится мне тюрьма — наваждение какое-то!..

Опять я в «Крестах»... В самом чреве гудящего людского муравейника.

Меня ведут по натертому диабазовому полу корпуса, разделанного в виде замысловатых отсвечивающих полукружий, к крутым маршам железных лестниц, напоминающих корабельные трапы...

Вместо привычных потолочных перекрытий, разделяющих этажи, вдоль стен «висят» металлические конструкции галерей, на которые выходят бесчисленные двери камер...

Мы поднимаемся на самую верхнюю галерею, по висячему железному мосту переходим на противоположную сторону и идем вдоль камер в самый конец галереи, оповещая о своем приближении ударами огромного ключа по металлическим перилам галерки. (Сигнал, по которому надзиратели заранее убрали с нашего пути всех, кого вели навстречу. Никаких контактов!)

С высоты пятого этажа галереи, внизу, во всей красе просматривается узор диабазового «паркета» — искусство тюремных полотеров из «принудчиков»...

На случай, если у заключенного возникнет вдруг фантазия совершить последний полет с верхней галерки вниз, через весь корпус, на уровне второго этажа, от стены до стены, натянута металлическая сеть (наподобие цирковой), страхующая от подобных желаний покончить расчеты с жизнью...

«Кресты» — тюрьма одиночных камер. Лишь самые крайние на каждом ярусе галерей сдвоенные. Моя камера сдвоенная, крайняя... Нас в ней как сельдей в бочке! Вместо двух человек по норме — двадцать один человек, плюс «параша» — жуть!.. Она — единственное свободное пространство для вновь прибывшего. Некоторое время я и жил на «параше», пока кого-то не выдернули из камеры «с вещами» и не произошла соответственная подвижка мест...

Смрад, духота, вонь!.. На оправку и к умывальникам выгоняют дважды в сутки — и все это «на рысях», в спешке. Тюрьма переполнена сверх предела. Пропускная способность не соответствует «урожаю» последних лет.

Весь тридцать восьмой год никаких прогулок, администрация не справляется.

Семь месяцев сию без единого вызова — никакого движения. Где мое дело, в какой стадии следствия, не знаю. Сию на консервации. Без конца требую бумагу для жалоб. Когда ее дают — пишу протесты во все инстанции, какие только могу придумать. Ни ответа, ни привета! Бесполезно. Глухо.

Кормят отвратительно. Начали появляться признаки цинги — кровоточат десны, шатаются зубы...

В один из редких обходов начальства пожаловался врачу. Врачиха (жена начальника тюрьмы) обещала выписать винегрет и обманула... Роскошная женщина, королева снов моих, моя богиня (влюбился в нее с первого взгляда), обманула меня как последняя сука!..

Пятьдесят лет прошло, а я и сейчас вижу ее, с пожаром медно-каштановых волос на царственной голове!..

Каждую весну она является мне во сне — красивая, статная, величаво-снисходительная, упоенная колдовской силой своего женского обаяния.

Я чуть ли не физически ощущаю прикосновение ее волос к своему лицу, презрительную нежность холеных рук, когда она с профессиональным бесстыдством ощупывает мое тело в поисках «автографов» следствия...

Слухи о том, что в следственных тюрьмах бьют, в конце концов перестали быть секретом НКВД. Шила в мешке не утаишь! Количество арестов поражало, рождало слухи, наводило на размышления, настораживало... Ленинградцы перестали спать по ночам, в страхе прислушиваясь к шагам на лестнице, к шуму ночного лифта.

«Великий вождь всех времен и народов» вынужден был в конце концов выступить с осуждением «некоторых перегибов и беззаконий», допущенных в процессе разоблачения врагов народа. Собственную вину за кровавые преступления и зверский произвол, чинимый над миллионами ничего не понимающих, ошарашенных людей, «отец родной» в очередной раз ловко переложил на плечи своих соратников из органов НКВД, не в меру послушно и ретиво уничтожавших цвет нации...

Осенью тридцать восьмого Хозяин с восточной беспощадностью убирал с игры слишком много знавших и потому опасных свидетелей. Он расправлялся с ними как с «нарушителями социалистической законности, не оправдавшими высокое доверие партии».

Был снят и расстрелян Н. Ежов. Один изувер уступил поле деятельности другому — Лаврентию Берии.

Этот вурдалак, дорвавшись до «карающего меча революции», для начала порубал им головы подручных своего предшественника, особенно замаранных в невинной крови сограждан и потому компрометирующих «святой» ореол Сталина.

Время переформирования сил в органах НКВД аукнулось в тюрьмах некоторым затишьем следственного произвола — Берия утверждал в массах свой авторитет! Охорашивался, заигрывал перед народом, выдавая себя за кристально чистого рыцаря-чеккиста, беспощадного к проявлениям превышения власти, стоящего на страже социалистической законности.

В последние месяцы тридцать восьмого года подрастряслись и разгрузились «Кресты»... Поубавилось народу в камерах. Все чаще раздавалась команда «с вещами!». В одиночках, где совсем недавно сидело десять-двенадцать человек, теперь осталось шесть-семь... Кое-кому, под шумок, удалось выскочить и на свободу.

Случаи освобождения из тюрем центральная пресса расписывала как результат своевременного вмешательства партии и правительства, положивших конец преступным действиям врага народа Ежова и его приспешников.

Газеты с чудовищным цинизмом уверяли своих читателей в том, что они имеют счастье жить в том единственном в мире справедливом социалистическом обществе, где клевета и оговор обречены, где честь и личные свободы граждан надежно защищены самой гуманной в мире Сталинской конституцией!

Тем самым народу внушалось, что невиновные выпущены или будут выпущены в ближайшее время (их дела пересматриваются), а все те, кто остаются сидеть в тюрьмах, отправлены в лагеря или расстреляны — действительно враги народа.

Наконец и на одну из моих жалоб-протестов «пал выигрыш» — меня вызвали к тюремному врачу.

— Ну, здравствуй, поэт! Рада тебя снова видеть, раздевайся. Показывай свои синяки-шишки.

— Какие шишки? — не понял я.

— Ты же писал, что тебя били?.. Показывай следы избиений, переломов, увечий... В общем, всего, что оставило следы на теле.

— Увечий пока, слава богу, не было, а что касается всего остального... Вам надо было свидетельствовать месяцев восемь назад. Вы вчерашний день ищите, доктор.

— Успокойся, поэт, и не огорчайся. Все, кто бил тебя, сами давно сидят!

— А мне какая от этого радость? Они сидят, и я сижу.

— Дурной какой! Это же хорошо, что долго сидишь... Хороший признак!.. Значит, не знают, что делать с тобой: выпускать — не выпускать. Глядишь, и на волю выскочишь!.. Чем черт не шутит. Сейчас все может быть. В крайнем случае, получишь лет пять, ты молодой, у тебя вся жизнь впереди. Поедешь на Колыму — там апельсины растут... Не унывай, поэт!

Королева снов моих, моя богиня сегодня благосклонна ко мне, она явно кокетничает, играет, как кошка беспомощным мышонком. Я прощаю ей все и не протестую. Мне приятно...

Мы уже знакомы. Больше того, по-моему, у нас «роман». К сожалению, платонический.

Знакомство наше случилось в канун ноябрьских торжеств. Перед каждым советским праздником в тюрьме учинялся тщательный «шмон», на предмет изъятия запрещенных предметов. Изымалась бумага во всех ее видах, вплоть до мундштуков от папирос. Отбирались все острые предметы и все красное (на время праздника).

Мне предложено было снять штаны. Красные лыжные штаны... Видно, опасались, как бы в юбилей Великой Октябрьской революции я не стал размахивать ими сквозь намордник зарешеченного окошка камеры. Наподобие известного плаката МОПРа.

Я отказался подчиниться. На меня прикрикнули, пригрозили карцером.

— Не имеете права! — возмутился я. — Это грабеж.

— Не положено, — отвечали мне.

— А сидеть в ноябре без штанов положено? Дайте мне какую-нибудь сменку, что ли...

— Посидишь без штанов, ничего с тобой не сделается. После праздника отдадим.

Штаны унесли.

Вслед за «шмоном» накатила следующая предпраздничная волна — тюремный обход. В камеру вошли начальник тюрьмы, корпусной начальник, тюремный врач, некто из прокурорского надзора и представитель от исполкома Ленсовета.

— Жалобы есть? — спросил начальник тюрьмы.

— Есть! — сказал я. — Прошу извинения перед дамой, но с меня только что сняли штаны... Можете убедиться!

Начальник тюрьмы вопросительно повернулся к корпусному.

— Товарищ начальник, — отрапортовал корпусной, — надзиратели действовали согласно инструкции. После праздника штаны заключенному будут возвращены.

— Я не привык ходить без штанов... Тем более в такой праздник. Мне холодно... Не хотите отдать мои штаны — дайте другие... Мой размер пятидесятый!

Инцидент все больше приобретал комическую окраску. В камере еле сдерживались от смеха. «Концерт» со штанами обещал развлечение.

Спасая серьезность момента, начальник тюрьмы отдал распоряжение заменить мне штаны.

Задал свой коронный вопрос и представитель исполкома, отработывая тем самым свое присутствие в составе обхода.

— Как кормят? — спросил он.

Как будто от нашего ответа что-то могло измениться...

Мои сокамерники повернули головы ко мне, как бы уполномочивая меня отвечать. Сегодня я вел «концерт».

— Как и во всякой тюрьме — плохо! — разозлился я. — Как-как?! Какая разница? В одной тюрьме чуть лучше, в другой — чуть хуже. А в общем-то... везде паршиво.

— Почему?.. На Шпалерке, например, кормят лучше. Хоть пайка там и меньше, зато приварок... Кашу дают, — сказал кто-то.

— Кому нравится Шпалерка, могу посодействовать, — улыбнулся начальник тюрьмы.

— Что вы, что вы, — замахал я руками. — Вы не так поняли товарища. Он этой кашей сыт по горло! До сих пор кровью харкает — там бьют!.. Мы этой кашей наелись досыта.

— Ко мне вопросы есть? — подал голос прокурор по надзору.

Камеру прорвало. Почему бьют? Когда выпустят? Долго ли еще сидеть здесь? Почему нет прогулок? Когда снимут позорные намордники с окон? — кислороду не хватает, в камерах духота — спичка не загорается.

— Ваши «когда» и «почему» вне моей компетенции, — развел руками некто из прокуратуры. — Ответы получите по мере разрешения их соответствующими инстанциями.

— Премного благодарны! — поклонился я ему в пояс. — Более исчерпывающего ответа мы и не ожидали от вас, спасибо! Низкий поклон вашим коллегам!.. Скажите, доктор! — обратился я к врачихе. — Может быть, в вашей компетенции выписать порцию винегрета, зубы начали шататься?

Она подошла ко мне, оттянула пальцами нижние веки глаз... Потом осмотрела вспухшие десны зубов, спросила фамилию. Я назвал. Встретив непривычное сочетание «жж», записала в свою тетрадь и ласково пообещала: «Вызову». Обход закончился.

Никаких штанов в праздники мне не принесли. К врачу меня не вызывали. Обещанный винегрет жду до сих пор.

Полгода спустя мы свиделись снова.

На этот раз ее вызвали в связи с приступом эпилепсии, случившимся с одним из заключенных.

До прихода врача мы всей камерой, как могли, старались облегчить бедняге страдания: просунули ему между зубов черенок деревянной ложки, чтобы не поранился и не откусил себе язык в конвульсиях, как это часто случается, подложили под голову мягкое, оберегая от ударов о цементный пол... Словом, пытались всячески помочь ему.

Когда припадок наконец иссяк и больной пришел в себя, понемногу затих и успокоился, в камеру явилась и долгожданная медицина.

Благоухая как цветущий дендрарий, моя любовь одарила всех нас очаровательной улыбкой.

— Ну, что у вас тут произошло, мальчики? — бодрым, как на физзарядке, голосом спросила она.

Ей объяснили. Подойдя к больному, она заговорила с ним... Взяв его руку, послушала пульс... Решив, что следует проверить температуру, поставила под мышку градусник... Все проделывалось не спеша, с сознанием собственной неотразимости.

Способность этой красивой женщины нравиться самой себе и получать от этого удовольствие — восхищала!

Я сидел на топчане, тихонько шептал какие-то стихи и откровенно любовался ею.

Она услышала, повернулась ко мне:

— Стишки читаешь, поэт?.. Ну-ка, ну-ка, чего ты там бубнишь, повтори.

— Вам как, доктор, читать — с выражением?

— Читай с выражением, — разрешила она.

Со всей задушевностью, на какую только способен, я начал:

Когда, любовию и негой упоенный,
Безмолвно пред тобой коленопреклоненный,
Я на тебя смотрел и думал: ты моя, —
Ты знаешь, милая! Желал ли славы я...

В этом месте, на всякий случай, я сделал паузу, давая ей возможность прервать меня, прекратить мою трепатню... Но она молчала. Ждала...

Я продолжал:

Ты знаешь: удален от ветреного света,
Скучая суетным прозванием поэта,
Устав от долгих бурь, я вовсе не внимал
Жужжанью дальнему упреков и похвал.
Могли ль меня молвы тревожить приговоры,
Когда, склонив ко мне томительные взоры
И руку на главу мне тихо наложив,
Шептала ты: скажи, ты любишь, ты счастлив?
Другую, как меня, скажи, любить не будешь?
Ты никогда, мой друг, меня не забудешь?
А я стесненное молчание хранил... —

и замолчал...

— Ну, ну, что остановился? Читай дальше, — нетерпеливо потребовала она. — Ты, что ли, это сочинил?

— Да. Вместе с Александром Сергеевичем Пушкиным.

— А!.. Ну читай, читай, я слушаю.

— В следующий раз, доктор! Обещаю к майскому обходу сочинить стихи и посвятить вам лично.

— А не забудешь, поэт?

— Я не забуду. Не забудьте прийти вы, доктор.

— Ладно. Договорились. Так и быть, в награду выпишу тебе рыбий жир, — пообещала она. — Только придется потерпеть, поэт!..

— Опять потерпеть!

— Ничего не поделаешь: сейчас весна, рыбий жир портится. Тебе начнут давать его осенью.

Щедрая моя! Ей и в голову не вступило, что в своем восторженном эгоизме она пророчит сидеть мне всю весну, лето... осень.

— Осенью, значит... — разочарованно протянул я. — Это как с винегретом, что ли?

— Каким винегретом?

— Забыли, доктор? Прошлой осенью, во время ноябрьского обхода, вы обещали мне выписать винегрет, помните?

— Да?.. Обещала?.. Не помню, — искренне призналась она. — Может, и забыла, хотя вряд ли... Скорее всего, возможности тогда не было. Вас ведь много, а я одна!..

Меня на всех не хватит. Все, что вам положено, — отдаю. Я лично ваш винегрет не ем. Так-то, поэт! Жду стихи.

Свое обещание я сдержал. Стихи сочинились в одно усилие, легко:

Пришла весна. На север потянули гуси.
А я всё жду её, но тщетно, нет —
Я не дождуся той Маруси,
Что носит в чаше винегрет.
О, милый друг, не плачь, —
Сказал тюремный врач.
Взамен получишь жир рыбицы,
Но, правда, когда птицы...
От севера потянутся на юг!

В сентябре 1939 года, когда птицы потянулись на юг, меня в числе других согнали вниз, на «пяточок» корпуса, к кабинету начальника тюрьмы, «за получкой».

Выйдя из кабинета начальника, я увидел в проеме открытой двери медсанчасти мою любовь... Она приветливо махала мне рукой и улыбалась:

— Ну, как дела, поэт?.. Сколько?

— Вы угадали, доктор: пять лет Колымы!

— Вот видишь... Не горюй, поэт! Там апельсины растут! Все будет хорошо.

На столике у нее стоял в стакане букет ромашек. Она вынула один цветок и с улыбкой протянула мне:

— На память тебе, поэт! Прощай.

Когда цветок стал вянуть, я не удержался и сыграл с ним в «вернусь — не вернусь»...

Последний лепесток на ромашке носил имя: «вернусь». Что ж!.. Какая ни есть, а надежда.

47-Й КИЛОМЕТР

Ноябрь 1939 года, Колыма. Небольшая лагерная командировка Дукчанского леспромхоза — 47-й километр. Основной комендантский лагерный пункт (ОЛП) находится на 23-м — 6-м километре Магаданской трассы (23 километра по трассе и 6 километров в тайгу). Все начальство, лагерное и производственное, — там; поэтому до поры до времени живем, можно сказать, вольготно. Наш лагерь еще только строится. Работаем бесконвойно. Унижений, связанных с положением и режимом содержания заключенного, почти не испытываем. Валим тайгу.

47-й километр (счет километрам идет от Магадана) существует с начала тридцатых годов. Первыми в нем селились колонисты. Колонисты — репрессированные граждане из различных районов Европейской России, в основном крестьяне, которым вместо содержания в лагере под стражей разрешено было селиться на Колыме вольно, строиться, вызывать семьи с «материка», в общем, пускать корни, при одном обязательном условии — корни пускать навечно.

Невдалеке от рубленых на сибирский манер домов колонистов, подальше от трассы и поближе к тайге, бойко строился наш лагерь. Уже стояли два-три барака, человек на сто пятьдесят, несколько хозяйственных построек, столовая, на крыльце которой всегда стояли две бочки с соленой горбушей — ешь сколько хочешь, «от пуза»! Меньше чем через год, вспоминая об этом, сами удивлялись: неужели когда-нибудь

это было?! Как, впрочем, и многое другое, относящееся к мирным, довоенным дням. Особняком стояли механический цех леспромхоза, гараж и хутор охраны лагеря — вохры. Зоны лагеря не было. Она обозначалась чисто символически — «скворцы» еще не прилетели. «Скворцами» называли вольнонаемную охрану лагерей, в основном вербуемую из демобилизованных из армии солдат, как правило, выходцев с Украины, из Средней Азии и Приуралья, которые с весенней навигацией прибывали с «материка» на Колыму и заселяли построенные для них охранные вышки-«скворечни», установленные по всем четырем углам зоны лагеря.

Вывод бригад на работу и возвращение регистрировались комендантом лагеря. Каждый бригадир отвечал за количество людей, выведенных на работу из лагеря, о чем расписывался в журнале на вахте.

Вахта же являлась и своего рода сигналом времени. Подъем, развод, обед, отбой и другие чрезвычайности вызывались ударами железяки по куску рельса, подвешенному к лиственнице. При «курантах» неизменно состоял полковник, инспектор кавалерии штаба Ленинградского военного округа, кавалер орденов Боевого Красного Знамени, георгиевский кавалер, один из командиров «дикой дивизии» в гражданскую войну, заключенный Борис Борисович Ибрагимбеков (Ибрагим-Бек). Святой человек! Умер на «инвалидке» 23-го — 6-го километра в 1943 году.

Путь на работу к делянкам лежал мимо домов колонистов. Мы всегда норовили держаться поближе к ним. Жалостливые бабы-колонистки, завидя нас, подзывали самых молоденьких, выносили из сеней пригоршни заготовленных на зиму, замороженных пельменей и высыпали их в наши закопченные консервные банки-котелки, по-матерински причитая на наш счет.

Вечная и прекрасная черта русских женщин — сердоболие! Слово-то какое удивительное!

Пельмени мы с наслаждением поедали потом в тайге, разогрев на костре во время перерыва. Колыма — лесотундра. Тайга редкая, чахлая. Корни деревьев стелются подо мхом поверху, глубже — вечная мерзлота. Летом земля оттаивает на 15-20 сантиметров, не больше. Ударь покрепче плечом — и лиственница легко падает. Дерево живет недолго. Много сухостоя, особенно на сопках.

Валим тайгу по старинке — топор да пила, техники никакой. Работаем обыкновенной двуручной пилой — «тебе — себе — начальнику»... Норму, хотя она и значительно ниже, чем где-нибудь на «материке», выполнить трудно: лес редкий. Годен разве что на дрова. Лиственница мелкая, вымерзшая, больная... Боже мой! Сколько же надо было навалить ее, разделить от сучьев и потаскать на своем горбу в штабеля, чтобы выполнить норму! Пилим двухметровыми. Штабеля ставим от двух «кубиков» и больше. Меньше двух кубометров в замеры десятник не примет: чем мельче штабель, тем труднее будет вывозка зимой: лошадь, она тоже не двужильная! Вот и ворочаем дрыном, то кантуя, то таская на себе двухметровые лесины, укладывая их в штабеля покрупнее. Ловчим, конечно, строим «туфтовые» штабеля, а что делать? Летом топтать тайгу в болотной жиже, на комарах, задыхаясь в накомарниках, — это не сахар. Или зимой, в сорока-, пятидесятиградусный мороз, по пояс в снегу, в нелепых «куропатках» — обуви из старых автомобильных покрышек, рожденной лагерными «модельерами» в военные годы взамен вышедшим из моды на Колыме уютным и теплым валенкам. Их не хватало в те трудные годы и на фронте.

За два года жизни на 47-м километре освоил несколько профессий. Из всего лесорубского процесса — повал, разделка и штабелевка — предпочитал штабелевку: меньше болела поясница.

Работал водителем на автомашинах ГАЗ-АА, ЗИС-5 и ЗИС-15 («газген»). Мучился с газогенератором нещадно, пропади он пропадом! Топливо местное — чурка лис-

твенницы. Сырая, некалорийная. Машина не только груз, себя не тянула. Шоферил с перерывами. Начальство за разного рода провинности, действительные и мнимые, часто снимало с машины и наказывало, отправляя либо на лесоповал, либо грузить лес или дрова.

К слову сказать, о начале Великой Отечественной войны и узнал, будучи за баранкой.

В прохладный день 22 июня 1941 года я ехал по трассе с каким-то грузом. На оперпосту 47-го километра остановился перед закрытым шлагбаумом. Стрелок потребовал документы. Я подал ему водительское удостоверение. Поняв, что я заключенный, стрелок распорядился поставить машину в сторону, а мне приказал следовать за ним на оперпост. Там он созвонился по телефону с диспетчером гаража и потребовал прислать вольнонаемного водителя, сославшись на приказ из Магадана. На мой недоуменный вопрос, в чем дело, что случилось, он ответил: война.

Жуткое чувство огромного несчастья, случившегося в мире, полоснуло по сердцу болью и страхом. Итак, война!.. Все-таки — война.

Мировая война, неотвратимо надвигавшаяся последние годы на человечество, началась. Две ненавистные друг другу системы, две идеологии столкнулись наконец в смертельной схватке, в схватке не на жизнь, а на смерть!

Пожар, зажженный Гитлером на западе Европы, неизбежно устремился на восток, пожирая на своем гибельном пути пространство и людей.

Короленко писал: «За Уралом лес рубят, в Сибирь щепки летят!» Многие из нас оказались в лагерях беспомощными «щепками» чудовищной политической ситуации, сложившейся в нашей стране, когда в результате преступной деятельности всякой сволочи — карьеристов, параноиков и просто идиотов, прорвавшихся к власти, — миллионы ни в чем не повинных людей, истинно русских, советских граждан, партийных и беспартийных, независимо от возраста и национальности, оказались в тюрьмах и лагерях с позорной биркой изменников Родины, шпионов, диверсантов, террористов и прочих антисоветчиков...

Тогда, несмотря на репрессии, которым нас подвергало Особое совещание НКВД СССР, несмотря на лагерный произвол — предвестник приближающейся войны, в нас жила надежда, что в Москве разберутся, кто есть кто. И как могло случиться, что через мясорубку тридцать седьмого, тридцать восьмого годов пропустили едва ли не лучшую часть поколения советских, партийных, военных кадров, лучшую часть интеллигенции?!

Поразительно, что эта акция, этот сенокос был учинен в канун войны, то есть как раз тогда, когда страна, весь ее народ, как никогда, должен был объединиться в едином союзе, в едином патриотическом монолите против надвигавшегося фашизма.

22 июня 1941 года стало ясно, что государству в течение ближайших лет будет не до нас, не до наших проблем. А это значило, как сказал А. Фадеев в последней фразе романа «Разгром», «надо было жить и исполнять свои обязанности». Время испытаний еще только начиналось... Наверное, отчаянная вера в жизнь и смогла исторгнуть из обиженной души незамысловатые стихи, нацарапанные мною на стене тюремного карцера в ленинградских «Крестах» в 1939 году:

Придет тот час, когда отсюда,
Из этой камеры сырой,
Я выйду, и раскроет всюду
Все двери «цирик» предо мной!

Я возвращусь в тот мир, где прежде
Свободным гражданином был,

Где, преисполненный надежды,
Мечтал, работал и любил!

В тот мир, где юность дней искрилась,
Где славить солнце дал обет,
В тот мир, где вера в справедливость
Была девизом многих лет!

И тот из нас, кто сумел сохранить веру, нашел в себе силы «жить и исполнять свои обязанности» — выжил, кто не сохранил — погиб.

Потому как «деньги потерял — ничего не потерял, здоровье потерял — кое-что потерял, веру потерял — все потерял!».

САНОЧКИ

Прииск агонизировал.

Все началось полгода назад, летом, когда «Верхний» еще только организовывался. «Верхним» он назывался потому, что находился в самом дальнем, верхнем конце распадка, между сопками, у самых истоков ключа, по руслу которого проходил единственный транспортный путь.

Из Магадана грузы шли по центральной трассе — главной жизненной артерии Колымы до поселка Оротукан; затем по круглогодично действующей дороге на нижний участок прииска — «17-й», расположенный в долине, на выходе из распадка, у подножия сопки; здесь дорога кончалась. Дальше десять километров в сопки только пешком или тракторами в сухое время года по высохшему, каменистому руслу ключа до «Верхнего».

На прииске добывали касситерит — оловянный камень. Главный рудный минерал для получения олова.

Шла война. Касситерит был необходим военной промышленности страны. Его добыче на рудниках и приисках Дальстроя придавалось огромное значение — не меньшее, чем добыче золота.

Выполнение плана было равносильно выполнению воинского приказа. Никакие объективные причины срыва в расчет не принимались. С приискового начальства спрашивалось жестко и строго. Оно обязано было отчитываться перед Магаданом ежедневно. В свою очередь, и начальство не давало поблажек своим подчиненным на прииске...

Из Магадана на «Верхний» было заброшено несколько этапов с заключенными.

Едва разместив людей в наскоро сколоченных бараках и палатках, начальство уже на следующий день по прибытии этапа выгнало всех в забой на работу.

Июль месяц стоял на редкость сухой и теплый.

Производственное начальство прииска, используя благоприятную погоду, усиленно завозило с «17-го» различное оборудование и механизмы. Трактора с груженными санями непрерывно подвозили все новые и новые грузы...

Лагерное начальство, вместо того чтобы подготовить к холодам бараки, своевременно, посуху обеспечить лагерь необходимым на зиму продовольствием и теплой одеждой, занималось созданием уютных условий жизни охраны лагеря (вохры) да «проблемой» колючей проволоки для ограждения зоны лагеря.

Вся техника — трактора и весь остальной транспорт — дымила в небо соляркой, подвозя стройматериалы для изб охраны и сторожевых вышек («скворечен»), возводимых по всем четырем углам зоны лагеря.

Сама вахта с новыми, пахнущими живой лиственницей воротами была уже гостеприимно распахнута.

Над воротами — во всю ширь, от столба к столбу — сияла фанерная «радуга», задрапированная приспособленным к ней кумачовым транспарантом: «Труд в СССР есть дело чести, славы, доблести и геройства!»

Однажды уставшее за день солнышко, весь месяц ласково светившее работающим людям, скрашивая их тяжелый подневольный труд, свалилось на закате в огромную лиловую тучу.

Утром, после душной ночи, когда бригады, выстроенные на развод у вахты, разбирал конвой, с серого как портянка, низкого неба упали первые редкие капли... Погода явно менялась. Начался дождь, равномерно барабана по брезентовым спинам конвоя и пузырясь в образовавшихся на дороге лужах.

Когда бригады дотянулись до забоя и начали нагружать скальной породой тачки и отгонять их в приемные бункера приборов, с неба уже всю лились «библейские» потоки...

Поплыли по намокшей подошве забоя деревянные трапы... Ноги с налипшей на них глиной делались стопудовыми, скользили и разъезжались... Грузенные тачки заваливались с трапов в грязь, глина липла к лопатам, не вываливалась из тачек... Не человеческие усилия требовались, чтобы удержать опрокинутую грузеную тачку и не дать ей свалиться в бункер вместе с породой...

Вымокшие, с ног до головы измазанные в глине люди из последних сил терпели ожидая минуты, когда конвой поведет их наконец в лагерь, где можно хоть на короткое время укрыться от дождя, обсохнуть и проглотить свой обед...

Но накормить в этот день людей не удалось: залило дождем обеденные котлы, чадили и не разгорались плиты, внутри наспех сооруженной кухни шел дождь...

Здоровьем заключенных расплачивалось начальство за собственное легкомыслие.

Потекли и крыши бараков. Намокли постели. Дневальные круглые сутки шуровали печи. В не просыхавших за ночь «шмотках» — матрацах и подушках, — в одежде, развешенной на просушку вокруг раскаленных докрасна бочек из-под солидола, превращенных в печи, завелись белые помойные черви...

Как и всегда, беда не приходит одна!.. После непрерывного, в течение шести суток, летнего проливного дождя, во время которого работы в забоях не прекращались ни на минуту, вдруг ударили морозы — не заморозки, настоящие морозы с температурой минус 20-25 градусов!

Полуголодные, измученные, больные люди натягивали на себя влажное, дымящееся от пара тряпье, мгновенно становившееся колом на морозе, и брели в этом задубевшем панцире в забой отрывать тачки, кайла, лопаты и прочий нехитрый инструмент забойщика, намертво вмерзший в землю.

Самое выносливое существо на свете — человек!

Чего только ему не приходилось преодолевать: голод, холод, болезни, одиночество!.. Зверь гибнет — человек живет! Особенно русский человек!.. Какие только испытания на прочность не выпадали на долю русского человека! Рабство, нашествия, стихийные бедствия, эпидемии, войны... В руках каких только политических авантюристов не побывал русский человек! Вся история народа российского есть бесконечная борьба за жизнь, за выживание.

Какое-то проклятье нависло и над «Верхним».

Едва только люди свыклись с неожиданными морозами и у них затеплилась надежда: с «17-го» вышли два трактора с грузом продовольствия и зимних теплых вещей для лагеря, — погода преподнесла еще один сюрприз — налетела пурга!

Налетела внезапно, мгновенно смешав небо с землею.

Шквальный ветер с ураганной скоростью гонял по промерзшей земле сотни тонн колючего, жалящего снега, от которого не было спасения нигде. Снежная круговерть, несколько дней хозяйничавшая вокруг, завалила двухметровыми сугробами все заборы и все подходы к ним...

Оказалась забитой снегом и единственная дорога по ключу, откуда шли трактора с продовольствием и обмундированием на помощь попавшим в беду людям.

Каравану не повезло. Он был застигнут в пути ураганной пургой и безнадежно застрял в вымерзшем ключе. Что было полегче (в основном обмундирование), пурга разметала по распадку в разные стороны, все остальное вместе с тракторами и санями с продовольствием похоронила в наметенных завалах твердого, как камень, спрессованного снега, превратив до весны в часть колымского пейзажа...

Когда пурга стихла, была предпринята попытка сбросить продовольствие с самолета, но и она окончилась неудачей: то ли из-за ошибки летчика, то ли из-за плохой видимости груз упал в нескольких километрах от лагеря в сопки. Лишь незначительная его часть угодила на территорию прииска.

Транспортная связь с внешним миром прекратилась. Положение на «Верхнем» становилось все более отчаянным.

Кончались продукты. Уже несколько дней в обеденные котлы бросали для нава пустые мешки из-под муки, чтобы хоть как-то замутить воду и создать иллюзию съедобности. Как ни экономило начальство, сколько ни растягивало остатки муки, сокращая суточную выдачу хлеба до блокадной ленинградской нормы, настал день, когда мука на складе кончилась совсем.

Голод все больше и больше давал о себе знать. Его уже чувствовали не только заключенные. Охрана и вольнонаемные работники также подтянули пояса и сели на непривычный для себя полуголодный паек. Правда, как только стихла пурга, они протоптали пешую тропинку на «17-й» и, благо сил хватало, носили на себе или возили на санках необходимые продукты. Во всяком случае, голодная смерть им не грозила.

Хуже пришлось заключенным. В лагере уже всюду свирепствовала цинга и дизентерия... Так же как кварц является спутником золота, так и эти болезни являются постоянными спутниками голода.

Невероятно исхудавшие или, наоборот, распухшие от цинги, пораженные фурункулезом люди жалкими кучками лепились к стенам лагерной кухни, заглядывали в щели и лихорадочными, воспаленными глазами сумасшедших следили за приготовлением пищи...

Тут же, на этом «толчке», заключались самые невероятные сделки: черпак завтрашней баланды или завтрашний кусок хлеба выменивались на сегодняшнюю очередь за обедом или на сегодняшнее теплое место у печи в бараке... Чудом сохраненный окурок менялся на пайку хлеба или, наоборот, — пайка на окурок... Продавалась очередь за пищей только что умершего, но еще не списанного с довольствия товарища... Все «завтрашнее» не котировалось — в цене было только сегодняшнее.

В промерзших бараках, на уцелевших «островках» нар, валялись, тесно прижавшись друг к другу от холода, больные голодные люди.

Каждое утро на нарах оставалось несколько умерших («давших дуба») заключенных. Их скрюченные, застывшие тела в примерзших к изголовью шапках стаскивали с нар, волоком тащили за зону лагеря и где-нибудь подалее от людских глаз прикапывали до весны в снег. Кайлить, «выгрызать» могилы в вечной мерзлоте не было сил. Мертвые «сраму не имеют», подождут, не обидятся, им не к спеху!

Доски и жерди с освободившихся нар тут же шли в печь. Карабкаться за сухостоем на склоны сопки по уши в снегу посильно здоровому человеку, а их в лагере оставались единицы.

С каждым днем все меньше и меньше способных передвигать ноги заключенных выходило утром на развод к вахте.

Голодный, злой конвой вел их за перевал в сопки на поиски упавших с самолета продуктов. На выходе из поселка, проходя мимо механического цеха, где под навесом стояли железные бочки с техническим солидолом для смазки тракторов и прочей техники, наиболее слабые, потерявшие над собой волю и контроль заключенные набрасывались на солидол и, судорожно давясь, запихивали его в рот, стараясь скорее проглотить, пока конвой или бригадир не отгонит их.

Цинга отняла у людей и последнюю волю, валила с ног. Человеком овладевала апатия, безразличие ко всему, покорность судьбе... Приближающаяся смерть уже не пугала, а скорее была желанной. В эту зиму смерть стала привычным, не вызывающим никаких сострадательных эмоций явлением. Из семисот с лишним человек, населявших лагерь, перезимовала только половина.

По весне из-под подтаявшего снега торчали конечности человеческих тел, как бы с мольбой взывая к живым о захоронении по-христиански, в землю. С теплом это и делалось. Заключенные хоронили из милосердия, начальство — по обязанности, из соображений санитарии.

* * *

Снег начался к вечеру и падал всю ночь, оттепельный, набухший, тяжелыми хлопьями ложась на обезображенную землю. Нагое тело мерзлой земли, истерзанное массовыми взрывами, исцарапанное когтями экскаваторных ковшей, вдоль и поперек перелопаченное в поисках золота и касситерита, окуталось за ночь саваном чистого нехоженого снега...

К утру потянуло на мороз... Вызвездило небо. Весь распадок между сопками являл, насколько хватало глаз, царство вечного девственного снега...

Разбросанные по забоям темные силуэты занесенных снегом экскаваторов с вытянутыми в небо хоботами напоминали останки давно вымерших доисторических чудовищ...

Ни зверь, ни человек, казалось, никогда не ступали здесь... И только ночью, как бы подчеркивая космическую звенящую тишину ледяного безмолвия, было слышно упругое характерное «бык-пык-бык-пык-бык-пык...» двухтактной «Червонки», выдававшей лагерю тусклый электрический свет, да изредка карканье огромной вещицы — колымского ворона, не к добру зачистившего в эти края...

Но и эти звуки смолкали, едва начинало брезжить на востоке.

«Придет или нет?» Я неотрывно всматривался в занесенную снегом, пустынную в свете луны тропинку, протоптанную от бани в сторону вольного поселка. От напряжения и мороза слезились глаза. Отдаваясь тупой болью в висках, где-то под самым горлом нехорошо билось сердце...

«Неужели не придет?» Петляя по пологому склону сопки, тропинка убегала вверх к линии горизонта и исчезала там, растворяясь во мгле предутренних сумерек... Никого.

«Неужели обманет?» Вчера вечером, уходя из бани распаренный и довольный, он пристально оглядел меня с ног до головы и, как бы окончательно решившись на что-то, ему одному ведомое, с усмешкой бросил:

— Ладно. Рано утром зайду за тобой! Жди.

И вот я жду.

Жду, как подсудимый ждет минуты вынесения приговора...

Жду, понимая, что другого выхода у меня нет и не будет никогда.

Вчера судьба неожиданно подарила мне последний шанс. Я обязан воспользоваться им, пока еще на ногах, пока цинга не отняла остаток моей воли окончательно.

Хватит ли у меня сил — стараюсь не думать сейчас. Этот вопрос еще встанет передо мной во всей своей беспощадной яви позже, когда он придет... если, конечно, он придет.

Хватит ли сил?.. Может, и не хватит... Скорее всего не хватит, как не хватило их в прошлый раз, когда я наконец собрался с духом и рискнул пойти.

Тогда, пять дней назад, я переоценил свои возможности, не рассчитал сил. Их оказалось меньше, чем я предполагал. Я посчитал, что меня хватит если не на все двадцать километров пути туда и обратно, то уж, во всяком случае, на половину — до «17-го».

«Лишь бы добраться до него, — думал я тогда. — Обрато идти будет легче...»

«17-й» являлся тем заколдованным местом, к которому я, подобно Иванушке из русской сказки, стремился во что бы то ни стало, через все испытания и преграды — там ждала меня жизнь!.. Туда пришли две посылки, посланные мне матерью из Ленинграда в 1939 году.

Жизнь, искавшая меня в течение трех лет по разным лагерям Колымы и нашедшая в самый критический момент, когда я, голодный, потерявший всякую надежду, медленно умирал от цинги где-то в богом проклятом месте, «у черта на куличках», в заледенелом распадке Оротуканских сопкок...

Что это? Стечение обстоятельств? Перст божий, сотворивший чудо?.. Телепатия?! Может быть, и так, конечно, но скорее всего — никакое это не чудо, а просто вешее сердце Матери с его никогда не умирающей верой и надеждой!

О посылках я узнал в один из банных для «вольняшек» дней, когда начальник лагеря зашел в баню, попариться с мороза.

— Все еще живой, артист?! — удивился он, увидев меня на обычном месте за горящим бойлером. — Долгожитель!.. Хочешь — обрадую? Посылки пришли тебе из Ленинграда. — Новость была настолько невероятна, что я никак не отреагировал.

— Чего не радуешься? — Мое молчание его озадачило. Зная, как быстро начальство меняет милость на гнев, я решил не испытывать судьбу по пустякам.

— А это правда? — сказал я. — Где они?

— На «17-м», где же еще!

— Так пошлите за ними кого-нибудь, гражданин начальник!

Он рассмеялся:

— Кого я пошлю?.. Хочешь жить — сам сходишь.

— Мне не дойти. Вы же сами видите, в каком я состоянии...

— А у меня весь лагерь в таком состоянии... — еще пуще развеселился он. — Вот так-то, артист! Десять километров всего — и ты живой, думай!.. Сходить на «17-й» я разрешаю тебе.

Когда начальник ушел, мне стало страшно. Я понял, что он не шутил, — посылки существовали. Но, к сожалению, пришли они слишком поздно — они опоздали. Про меня, уже не стесняясь, говорили: «Этот — местный!»

Честно говоря, признаки близкого «финиша» я и сам чувствовал — мне было безразлично все!.. Моя песня на этом свете была спета!

Такое состояние испытывает замерзающий, когда физическая боль ушла, покинула тело и человеку стало вдруг неожиданно легко... Лишь бы не тревожили его, не мучили, а оставили бы навсегда в покое...

И вот это смирение перед неизбежностью, в котором я находился и из которого, казалось, ничего уже не могло меня вывести, разлетелось вдребезги. От покоя не осталось и следа.

Сообщение о посылках, ждущих меня всего в десяти километрах, занозой вошло в заторможенное цингой сознание, бередя его, рождая непонятное беспокойство, лихорадочную необходимость сосредоточиться на чем-то, ускользающем из сознания, и действовать, действовать... Я почти перестал спать. Меня мучили видения... Огонек надежды лампадным язычком затеплился во мне и, постепенно разгораясь все ярче и ярче, ширился, растворяя десятикилометровую толщу мрака, которую мне предстояло преодолеть... Там, далеко, на выходе из этого бесконечного мрака, чудились мне луковые и чесночные заросли, меня ждали горы колбасы, сыра, масла... запах хлеба, табака... Я стал галлюцинировать.

Понимая, что шансов добраться до посылок с каждым днем становится меньше и меньше, что надо торопиться, и в то же время сознавая, что сил мало, в последующие несколько дней старался всячески экономить их. Пообещав банщику поделиться содержимым будущих посылок, уговорил освободить меня от заготовки дров и стирки белья. Правдами и неправдами добывал лишний черпак баланды, выторговывал на «толчке» драгоценный кусок хлеба, старался меньше двигаться...

И, наконец, решился.

В этот день ночевать в зону не пошел — остался в бане, благо разрешил начальник. Последние часы перед выходом хотелось побыть в тепле, еще раз обмозговать все, проверить...

Всего два года назад расстояние в десять километров было сущим пустяком, не стоило и разговора. Находясь в Дукчанском леспромхозе, регулярно, два раза на дню, в течение всей зимы совершал эту «прогулку»: утром — в тайгу на трелевку леса, вечером — домой, в лагерь. Но тогда я был здоров. Теперь голод и цинга, настигшие меня, сделали эти километры недостижимыми.

Плохо было с одеждой, особенно тревожила обувь. Лапти или резиновые забойные калоши — другого выбора не было. О валенках и не мечтали; не у всех «вольняшек» они были. Идти в калошах — заведомое самоубийство: не убережешь ноги, поморозишь. В лаптях легче и теплее, лишь бы портянок побольше...

Лыковые «берендеевы» лапти!.. Вам памятник на Колыме полагается! Скольким заключенным спасли вы ноги в горестные зимы военных лет!

Выйти задумал до рассвета. Банщика Липкарта решил не будить, не хотел лишний раз видеть его морду перед дорогой со скептической гримасой неверия в мои силы.

Мы не любили его. Не знаю, как и за что попал он в лагерь, но его одинаково ненавидели и зеки и вольные. Причиной тому были не столько его личные качества. Гремела Великая Отечественная: шел 1942 год... Немецкий фашизм еще продолжал свое победное шествие по Европе. Трагедия большинства из нас — безвинных «контриков», находилась в прямой зависимости от мировой политической ситуации, не говоря уже о делах «семейных», внутренних, в те годы само слово «немец» было ненавистно.

Известные советские поэты и писатели призывали: «Убей немца!» Со сцен театров, с экранов кино, из фронтовых и тыловых репродукторов звучал гневный набатный клич, усиленный за душу хватающей музыкой: «...сколько раз увидишь его, столько раз его и убей!» Мы же не только каждый день видели нашего немца, но и на собственной шкуре испытали прелесть его природы: расчетливую, бездушную требовательность к подчиненным, дисциплинированность перед силой власти!.. Любой власти! Для нас он был не просто немец, но и немец-начальник, немец-погоняла.

Ушел из бани незаметно, тихо.

Когда мехцех — последнее приисковое строение осталось за спиной, я послал прощальный взгляд лагерю и медленно побрел по лунной дорожке, напоминавшей серебряную ленту фольги, размотанную по голубому безбрежью снега, навстречу восходу солнца, в сторону заповедного «17-го»...

Вскоре начали слипаться, намерзать ресницы. Сплюнул. Слюна на лету превратилась в ледышку — первый признак, что мороз за сорок... Не заметил, как прихватило лоб, щеки.

Все годы пребывания на Колыме больше всего боялся обморозить лицо. Поэтому часто щупал его на морозе, проверял чувствительность, берег... Актер без лица — не актер! И в прямом, и в переносном смысле. Свято помнил это, верил: если суждено остаться в живых, мое лицо мне понадобится. Вот и сейчас, как только почувствовал, что деревенеют щеки, вытянул из-под воротника бушлата обрывок байкового одеяла, заменявшего шарф, обмотал им лицо, оставив наруже только глаза. Пока растирал щеки, пока заматывался и прятал руки в варежки, онемели пальцы...

Мелькнула мысль: «Зря вышел в такой мороз — не дойду!»... В памяти возникли герои книг Джека Лондона: мужественные, сильные, выносливые мужчины, неизменно выходившие победителями из любых, самых жестоких схваток с Севером, если только в их души в критический момент не заползало сомнение. В таких случаях сомнение будило воображение, воображение рождало страх — в результате страх разъедал, парализовывал волю человека.

Надо было идти быстрее, чтобы согреться, но не слушались, не шли распухшие, ватные ноги... Несколько раз оступался, падал... поднимался... Продолжал идти через силу, в надежде, что вот-вот появится «второе» дыхание, станет легче. Одышка заставила смириться — явно не срабатывало, не справлялось перетруженное сердце. Когда в очередной раз споткнулся и упал, окончательно понял: придется отдыхать — идти дальше нет сил.

Так и остался сидеть на дороге.

Нежный, хрустальный звон стоял в ушах — утренняя поземка играла стеклянными иглами изморози, катая их по ледяному насту. Казалось, звучит светлая, как детский хор, весенняя музыка.

Когда немного восстановилось дыхание и унялось сердце, собрался с мыслями, пытаюсь определить, где нахожусь и долго ли шел. Прислушался, в надежде поймать знакомое бормотание поселковой «Червонки». Обычно ее хорошо было слышно за несколько километров. Сейчас, кроме звенящей тишины в ушах и собственного свистящего дыхания, ничего не услышал — «Червонка» молчала. Значит, время уже перевалило за семь часов утра.

Светало... По знакомым очертаниям ближних сопок выходило, что отошел от поселка всего-навсего километр-полтора, не больше. Через силу поднялся. Поплелся, дальше. Ветер дул навстречу. Одолевал холод. Не было ни одной клеточки тела, которая не страдала бы... Малейшее движение вызывало озноб, приносило мучение. Хотелось съежиться, оцепенеть, забыться... Но всякий раз кто-то невидимый во мне наперекор моей слабости упрямо твердил: вставай, иди, двигайся, двигайся... В этом твое спасение.

По опыту предыдущих зим знал: нет злейшего врага для человека, идущего или работающего на большом морозе, чем жаркий костер и частый «перекур», — только работа и движение, движение... Без конца движение, иначе конец!

Итак, все мои заочные банные расчеты за теплым бойлером полетели к чертям, если за два с лишним часа пути мне удалось одолеть всего километр с небольшим. Сколько же потребуется времени на весь путь?.. Ответ не оставлял никаких надежд. Получалось, что идти придется сутки — не меньше. Ни физических сил, ни иной энергии преодолеть это расстояние во мне не было.

Что же делать? Идти или возвращаться? Похоже, что любое мое решение уже ничего не меняло. Пойду ли я вперед или возвращусь, безразлично — конец один. Еще час-другой, и я или замерзну на тропинке, или окажусь в той точке, откуда возвра-

щение назад окажется одинаково невозможным, как и путь вперед. С каждым моим шагом вперед уменьшалась вероятность возвращения.

Да и куда возвращаться? В лагерь? Зачем? Чтобы медленно умереть там? Ведь предчувствие близкого конца и погнало меня, больного, из лагеря в дорогу...

Мозг мой мучительно переваривал весь этот хаос лихорадочных мыслей и наконец выбросил единственный безжалостный в создавшейся ситуации ответ: «Возвращайся».

Какое-то время я еще продолжал автоматически передвигать ноги, двигаясь как автомобиль с выключенной скоростью, потом остановился, медленно повернулся спиной к ледящему ветру и поплелся, спотыкаясь, обратно.

Ни отчаяния, ни жалости к себе я не чувствовал. Скорее наоборот: сознание принятого решения и ветер, от которого наконец нашел спасение, подставив ему спину, принесли облегчение.

Отчаяние настигло поздно ночью, когда я, насквозь промерзший и обессиленный, перевалил через порог остывшей бани, ткнулся на свое обычное место между теплым бойлером и стеной и завыл, как собака, почуявшая покойника.

* * *

Прошло три дня. И вот снова начальник лагеря вызвал банщика и приказал топить баню.

Целый день несколько слабосильных зеков скребли, чистили, мыли полы и лавки в парной, грели воду и топили бойлер. Две сорокаведерные деревянные бочки, заменявшие ванны, были наполнены горячей водой. Втайне от банщика мы исполнили традиционный «ритуал» — помочились в обе бочки, выражая тем самым нашу пламенную любовь к начальству, умудрившемуся за несколько зимних месяцев отправить на тот свет половину вверенных им заключенных.

К вечеру в бане было тепло и чисто.

Начальник лагеря привел с собой оперуполномоченного прииска. Это был высокий худощавый офицер (лейтенант МГБ) с внимательным взглядом темных недоброжелательных глаз. На приисках Оротукана этого человека звали «Ворон».

Чем-то он действительно напоминал эту зловещую птицу: блестящая шевелюра иссиня-черных прямых волос, явное пристрастие к черному цвету в одежде лишней раз подчеркивали сходство с элегантной, красивой божьей тварью... Правда, кличка «Ворон» прилипла к нему не столько за внешнее сходство, сколько за ту недобрую молву, мрачным шлейфом ходившую за ним по жизни, где бы они оба ни появлялись — ворон и человек. А появлялся он всегда, когда случалось что-нибудь чрезвычайное. Появлялся налетом, неожиданно. Его не любили и боялись.

И исчезал он так же внезапно, как и появлялся. Случалось, вместе с его исчезновением и в лагере становилось на несколько человек меньше...

Родные этих несчастных потом долго и безуспешно разыскивали пропавших. В те годы горемык было столько, что Управление северо-восточных исправительно-трудовых лагерей (УСВИТЛ) не успевало отвечать на настойчивые запросы родственников. Окончательно запутавшись в местонахождении своих «подопечных», начальство управления лагерей или молчало, или отвечало стереотипной фразой: «В списках живых не значится», что не всегда соответствовало истине.

Выполнение плана было главным мерилom в оценке действий начальства. Борьба за план любыми средствами! Не считаясь ни с какими человеческими жертвами — людей хватит! Не хватит — привезут!.. Особенно «врагов народа»... Колыма этим «товаром» снабжалась последние годы регулярно и без ограничений — к этому привыкли все.

Еще только брезжили новые времена перемен, когда станет ясно, что с оптовым расходом людей переусердствовано; и тогда с начальства за допущенный произвол, приводящий к массовым обморожениям, увечьям, к бессмысленной гибели людей в лагерях, будут срывать погоны и привлекать к уголовной ответственности.

Эти времена только грядут, а пока по-прежнему из бухты Находка с началом очередной навигации отваливали корабли с набитыми в трюмы зеками и, подобно косякам нерестящейся горбуши, шли курсом на север — в места обжитых «нерестилиц»: в бухты Нагаево, Певек, Пестрая Дрясва на Чукотке и прочие, где и «выметывали» в лагеря десятки тысяч свежих жертв ненасытному Молоху...

Жестоко, когда политические заключенные содержатся в лагерях вместе с уголовными преступниками, и по-настоящему трагично, когда этими политическими преступниками оказывались в подавляющем большинстве нормальные, честные люди. Никакие не преступники, а жертвы! Жертвы пресловутого «культа личности» (так «интеллигентно» преподнесено истории время чудовищной тирании и издевательства над миллионами людей).

Жизнь политических заключенных в таких совместных лагерях ох как нелегка!..

Помимо прямого произвола лагерного начальства, весь ужас жизни в совместных лагерях усугублялся еще и тем, что все сколько-нибудь ответственные командные места и должности занимали, как правило, уголовные преступники: авантюристы, аферисты, растратчики, взяточники, грабители, воры, нравственные подонки и прочая нечисть... Это они считались «друзьями народа», заслуживающими чуткого, бережного к себе внимания как люди, по ошибке и недоразумению споткнувшиеся об Уголовный кодекс!..

Тогда как ни в чем не повинные перед законом несчастные люди, в основной своей массе не пропущенные даже через «Шемякины суды» того времени, а репрессированные заочно Особым совещанием НКВД СССР (органом, никогда не существовавшим в Советской Конституции), назывались «врагами народа»!.. На их долю в лагерях приходился тяжелый физический труд (ТФТ) и общие, подконвойные работы.

Жизнь такого лагеря была цепью непрерывных чрезвычайных событий: травмы, обморожения, увечья, отказы от работ, саморубство, сопротивления приказам, побег и попытки к ним, бандитизм, убийства, самоубийства, воровство, грабежи и т. д. и т. п.

Все это, как и многое другое, являлось сферой деятельности оперуполномоченного.

В его обязанности входило про всех все знать! Искать криминал. Находить виновных. Наказывать, искоренять, карать... В те недоброй памяти колымские годы глаголы эти были в большой моде.

Оперуполномоченный имел среди заключенных своих информаторов и «сексотов». Они снабжали его сведениями о своих же товарищах. Информация угодная, данная не по долгу совести, а из страха. Кто станет сотрудничать с оперуполномоченным по доброй воле?.. Только слабые или подлые люди, заклеянные презрительной кличкой «стукач».

Лагерь не место соблюдения законности и порядка. Установлением истины заниматься там некому. Страдали и правые, и виноватые. Кто меньше, кто больше, кому как повезет и как взглянется уполномоченному. Одни отделялись карцером, на других заводили уголовные дела. Нередко — по статье за контрреволюционный саботаж. (Статья, применяемая за проступки, повлекшие за собой потерю трудоспособности, пусть даже временную.) Подсудным всегда оказывался пострадавший.

Суровое наказание следовало за обнаруженное в зоне лагеря печатное слово — книгу или (не дай бог!) газету. В этих случаях «виновный», особенно если он сидел по политической статье, исчезал с концами.

С весны 1943 года на «пяточке» каждого колымского лагеря, где проходили утренние разводы и вечерние поверки, в обязательном порядке начальству вменялось в обязанность вывешивать на специальных стендах для прочтения заключенными все центральные газеты страны!

Менялось время! Менялась цена человеческой жизни. Эхо победной битвы за Москву и под Сталинградом докатилось наконец и до Колымы.

* * *

Начальство явилось навеселе. Оба оживленные и разговорчивые. Вокруг них вовсю «шестерил» Липкарт. Услужливо помогал раздеваться, расстилал под ноги простыни, суетился... Увидев меня у бойлера, начальник изобразил на лице радость:

— С возвращением, артист!.. Как жизнь молодая? — Слово «артист» ему явно нравилось. В его представлении я был чем-то вроде клоуна. — Подвел ты меня, артист, ох как подвел!.. Я, можно сказать, поставил на тебя... побился об заклад с лейтенантом, а ты взял и обманул меня... Нехорошо!.. Я говорю ему, — он показал рукой на уполномоченного. — Пойми, говорю, у него нет другого выхода, он должен прийти!.. Иначе подохнет здесь — он это понимает!.. Это я про тебя... а он мне свое: «Один не дойдет — замерзнет!» Плохо, говорю, ты знаешь артистов!.. Они народ особенный, двужильный!.. Так что случилось?.. Почему вернулся?

Я молчал. Уполномоченный с иронической улыбкой внимательно смотрел на меня. «Оставили бы вы меня в покое, — думал я. — Ну чего привязались?»

— В чем дело, артист? — Начальник повысил голос. — Ты меня слышишь?

Я утвердительно кивнул головой.

— Отвечай как полагается, когда тебя гражданин начальник спрашивает! — накинулся на меня Липкарт. — Почему вернулся с полдороги?

«И этот все еще не может смириться с потерей обещанной ему доли в посылках», — подумал я...

— Почему? — не отставал начальник. — Силенок, что ли, не хватило, да?.. Испугался замерзнуть?

Не глядя на него, я молча кивнул.

— Забрали бы вы его от меня, гражданин начальник; видите, он уже фитилит! — услышал я голос Липкарта.

И как я ни крепился, слезы все больше и больше застилали глаза. Я низко опустил голову, пытаюсь сдержать их, не смог и впервые после возвращения беззвучно заплакал.

— Ну все — местный! — махнул на меня рукой начальник, давая понять, что сеанс общения закончен, отвернулся и, стянув с себя нижнее белье, с веселыми охами и ахами полез в бочку с горячей водой. Его примеру последовал и уполномоченный.

...Они веселились, поочередно бегали в парную, с хохотом обливали друг друга ледяной водой, «травили» анекдоты, с наслаждением пофыркивая в своих бочках, обсуждали предстоящие дела...

...Я тихо скулил в своем углу, обняв теплый бойлер, следить за которым, судя по всему, была моя последняя обязанность на этом свете.

Из обрывков их разговоров, долетавших до меня, я понял, что утром уполномоченный отбывает в Оротукан, в управление.

Я и теперь не могу объяснить свое поведение в тот момент: фантастическая мысль зародилась у меня в мозгу: «А что, если попроситься вместе с ним? Ведь путь его обязательно будет проходить через «17-й», другой дороги не существует?!»

Я понимал всю безнадежность моей мысли, понимал, что своей фантастической просьбой вызову лишь презрительную усмешку, и все же с непонятной самому себе решимостью, решимостью отчаяния, что ли, выбрал момент, когда они, надев полушубки, докуривали послебанные сигарки, подошел к уполномоченному и, глядя ему прямо в глаза, тихо сказал:

— Гражданин начальник! Возьмите меня с собой до «17-го».

* * *

Он появился, как и обещал вчера, перед самым рассветом с последними тактами «Червонки», когда над вахтой лагеря медленно угас электрический фонарь.

Легко подпрыгивая на неровностях тропинки, за ним бежали детские саночки, то обгоняя хозяина, то, наоборот, застревая в наметенном снегу... Он легко дергал за веревку, привязанную к санкам, и те опять весело устремлялись под горку... На санках лежал маленький чемодан — обычный дерматиновый чемоданчик; в городах с такими ходят в баню или носят завтрак на службу.

«Зачем ему санки? — подумал я. — Такой чемоданчик проще нести в руках...»

Был он в форме.

Поскрипывали по утреннему морозу фетровые, с отворотами, светлые бурки... Распахнутый, подогнанный по фигуре черный полушубок ладно сидел на нем, — видно, лагерный портной очень старался угодить. Оперуполномоченный был крут. Вызвать его неудовольствие или гнев считалось рискованным — за это можно было поплатиться добавкой к сроку, а то и жизнью.

Я думал: «В каких закоулках человеческой души или сознания добро научилось уживаться со злом, милосердие с жестокостью? Все слилось воедино, все перемешалось... Иначе какими доводами разума можно объяснить, сопоставить вчерашний поступок уполномоченного с его же поступком полгода назад?..»

...Тогда, во время вечерней поверки, из строя заключенных неожиданно вышел высокий человек и, глядя в упор на уполномоченного, заявил протест против бесчеловечного обращения с людьми, против издевательства, жестокости и произвола, творимого лагерным начальством...

Такое, конечно, не прощалось. Ночь он просидел в карцере. А утром уполномоченный, сидя верхом на лошади и иступленно размахивая нагайкой, на глазах у всего лагеря угонял непокорного в следственный изолятор «17-го»...

С советским разведчиком Сережей Чаплиным мы были сокамерниками в ленинградских «Крестах», товарищами по этапу на Колыму, напарниками на таежных делянках Дукчанского леспромхоза, где два года кряду выводили двуручной пилой один и тот же мотив: «тебе — себе — начальнику...»

Когда началась война и нас этапировали в тайгу на прииски, мы поклялись друг другу: ...тот из нас, кто уцелеет во всем этом бардаке и кто вернется домой, должен разыскать родственников другого и рассказать им все, что знает.

Суждено было остаться в живых мне одному — Сережа погиб. Я выполнил данное ему слово. Разыскал его родственников. Беседовал с его дочерью. Родители назвали ее Сталина (какая жуткая ирония судьбы!!!).

Ушел из жизни редкого мужества гордый человек, достойный за свое благородство и смелость самых высоких наград и почестей! Его «отблагодарили» по-своему и сполна!!

Преступно осудили по статье 58.10 за измену Родине. Позорно предали, предали в своих же органах НКВД, офицером которых он был и которым служил, как настоящий коммунист, беззаветно и рыцарски честно всю свою недолгую жизнь!

Время, великое мудрое время в конце концов расставило все и всех по своим местам!.. Время восстановило светлую память о нем. После смерти Сталина его реабилитировали полностью. О Сергее Чаплине написана книга. Честная книга. Увы — посмертно!

Сегодня мне предстояло повторить последний путь моего друга. Повторить в той же компании, только на этот раз человек, спускавшийся сейчас по тропинке со своими саночками, был пеший... и без нагайки.

«Только бы не передумал», — шептал я про себя, как заклинание, глядя на подходившего ко мне уполномоченного...

Он остановился, без обычной своей иронической улыбки хмуро оглядел меня, как бы прикидывая, на что я гожусь, раздраженно пнул ногой саночки и полез в карман за махоркой... Саночки покатались было, но, ткнувшись в стену бани, встали... Щелкнула зажигалка, он закурил...

Предчувствие не обмануло меня — он колебался. «Только бы не передумал, — причитал я, стараясь унять нервную дрожь и боясь взглянуть на него, — сейчас все должно решиться... только бы не передумал».

Словно угадав мои мысли, уполномоченный прервал молчание:

— Значит, так!.. — Он сделал несколько затяжек и протянул окурочек мне. — Кури и слушай!.. Я болван, что связался с тобой, полный болван!.. На хрена ты мне сдался вместе со своими посылками!.. В гробу я их видел. Ты думаешь, я не понимаю, на что подписываюсь?.. Думаешь, не вижу, какой из тебя ходок сейчас?.. Все вижу и все понимаю, но только... только не люблю менять своих решений, не люблю!.. Такой уж я человек!

Он помолчал, собираясь с мыслями, и продолжал:

— Слушай меня внимательно: пойдешь следом за мной. Идти буду не торопясь, нормально... Но предупреждаю — не отставать! Отстанешь — пеняй на себя, уйду! Ждать не буду. Цацкаться мне некогда!.. Пойдешь один или останешься подыхать на дороге... Отдыхать сядешь тогда, когда я скоманую, не раньше. Никакой самостоятельности — иначе уйду! Подходят мои условия? Сдюжишь?!

От нескольких затяжек махоркой у меня все поплыло перед глазами, словно уполномоченный разговаривал со мной, сидя на вертящейся карусели... Уже много месяцев в лагере не было ни крошки табака... Боясь упасть, я прислонился спиной к углу бани и, кое-как справившись с головокружением, ответил:

— Постараюсь.

— Тогда все, — подытожил он. — Тронулись!

И мы пошли.

Он как лидер впереди с саночками, я за ним...

Три дня назад природа сопротивлялась моему бессмысленному походу в одиночку: она обрушила на землю пятидесятиградусный мороз с поземкой и ледящим ветром и заставила в конце концов внять себе и вернуться... Сегодня улыбалась и подбадривала... Одарила ясным, безветренным утром, подрумянив его слегка бодрящим морозцем!.. Тропинку под ногами застелила мягким ковром ночной пороши — так хорошо, хоть песни пой!.. В голове, как птица, залетевшая в комнату, забила не к месту привязавшаяся фраза: «Лед тронулся, господа присяжные заседатели!..», сочиненная дуэтом талантливых остроумцев.

Расстояние между лидером и мной стало увеличиваться. Несколько раз обернувшись, уполномоченный сбавил темп, пошел медленнее...

«...Лед тронулся, господа присяжные заседатели!..»

Впервые за последние три дня вдруг, чуть ли не до рвоты, захотел есть! Опять стали мерещиться посылки... И чего только в них не было! В который раз смакуя, я перебирал их содержимое... Все, что я любил когда-то на «воле», укладывал в них, сортируя и отбирая продукты с расчетом на предстоящее долгое путешествие. Любимая рыба горячего копчения, севрюга, осталась дома — в посылку упаковали воблу (над ней время не властно)... насладившись запахом полубелого хлеба с тмином и изюмом, решительно заменил его сухарями... Мясо не взял — только твердокопченую «саями» (она прочнее) и сало... Украинское сало... с розовой прожилкой, тающее во рту... Как и полагается, все углы посылок забиты чесноком и луком... Сахар брал только колотый, от «сахарной головы» — он слаще. Не забыл, конечно, и табак! Папиросам предпочел сигареты и махорку, объем тот же, а табаку больше... Мороженое... при чем тут... мороженое??

С ходу налетев на что-то непонятное, я ткнулся лицом в снег и... опомнился. Надо мной стоял уполномоченный и вытягивал из-под меня опрокинутые санки... посылки исчезли.

— Ты чего? — Он подозрительно смотрел на меня. — Что с тобой?

— Ничего, простите. — Выплюывая изо рта снег, я с трудом поднялся.

— Где то место, откуда ты вернулся, дошли мы до него?

Я обернулся в сторону лагеря: сопка, которую мы обогнули, заслонила собой «Верхний» и весь пройденный нами путь. Впереди тропинка виляла вдоль крутого берега ключа и примерно в километре по ходу терялась в кустах полегшего в снег стланика.

— Мы прошли то место, — сказал я.

— Да? Уже хорошо. Двинулись дальше... Дотянем до тех кустов, — он показал рукой в сторону стланика, — перекур! — И, потянув за собой санки, не оглядываясь, легко зашагал вперед, на ходу крикнув: — Не отставать!

Я медленно поплелся за ним.

«Не отставать!» Легко тебе говорить, ты здоров, как лось!.. А мои силы кончаются, вернее, не кончаются, а кончились... и кончились давно. Когда ты диктовал мне свои условия, уже тогда их не было... А если быть до конца честным, их не было и вчера в бане, когда я напросился к тебе в компанию... И ты догадывался об этом, ведь так?.. Поэтому и колебался... но все-таки решился и взял меня с собой... Почему?.. Ответь: почему? Не можешь ответить, а я знаю!.. Потому что вчера в тебе проклюнулся человек! Впервые, вдруг, неожиданно для тебя самого... И ты испугался, растерялся, не знал, как поступить с этим новым для тебя чувством: задушить ли его в зародыше, пока не поздно, или позволить терзать душу и дальше, не давая ей очерстветь окончательно... Вчера в тебе взял верх человек, победило *милосердие*!.. Не понимаешь, о чем я?.. О милосердии. Что это такое? Потребность души прийти на помощь любому, кто в ней нуждается. Почитай Федора Михайловича — поймешь! Кто такой?.. Где сидел? Сидел в Сибири, в «Мертвом доме». Тоже политический? Да. Писатель. Федор Михайлович Достоевский. Не знаешь такого?.. Немудрено — он умер около ста лет назад — иначе не миновать бы ему знакомства с тобой... Ну, что ты замолчал? Не молчи — говори, спрашивай! О чем хочешь спрашивай, только не молчи, иначе я упаду... О господи, как я устал!..»

Я стал считать шаги — переводил их в метры... Еще десяток, и конец, и я подниму глаза от дороги... Одолев эти метры, я давал себе новый зарок... Я боялся поднять глаза и не увидеть его. Только надежда, что он ждет меня, а не ушел, как грозился, и удержала меня на ногах... Нельзя, чтобы человек остался один!.. Нельзя!..

Шатаясь из стороны в сторону, я добрался наконец до кустарника.

Совсем рядом, поперек тропинки, стояли саночки. На них сидел уполномоченный и, прищурясь, внимательно наблюдал за моими зигзагами на дороге. Из последних усилий я доковылял до него и рухнул в снег возле саночек, все.

...Очнулся на санках. Уполномоченного не было. На снегу лежал его полушубок, на нем — кисет с махоркой и спички... Свежие следы вели в сторону от тропинки, в кусты... (понятно). Осмотрелся — это место было хорошо знакомо.

Еле-еле поднялся... Двинулся дальше.

Сознание ясно, а ноги не слушаются... Не хотят, не могут больше идти мои когда-то сильные, легкие ноги. Не чувствую я их, не мои они сейчас — огромные, как под наркозом, стопудовые, чужие... Кончается, видно, моя власть над ними... А сознание приказывает — иди! Заставь ноги двигаться. Не жди его. Нельзя, чтобы он видел твою беспомощность. Пусть знает: ты борешься до конца! Ты — сильный! Такие, как он, уважают силу. Заставь его уважать тебя, и он не уйдет, не посмеет уйти один... Да, он жесток!.. Но не только... Он может быть и милосердным — сегодня ты уже дважды убедился в этом... «Что посеешь — то и пожнешь!» Добро и зло всегда рядом, всегда вместе... Познать человека до конца невозможно!..

Когда уполномоченный нагнал меня, я еще держался на ногах.

— Ты почему сбежал от меня?

Я тупо смотрел на него, пытаюсь отдышаться. В голове звенело. Плясали разноцветные круги в глазах, не хватало воздуха... Сияясь ответить, я лишь бессвязно и неразборчиво промычал что-то.

— Ладно, — он подкатил ко мне саночки, легко ткнул в плечо, и я плюхнулся на них, — сиди, отдыхай.

Распутав веревку и сняв с санок чемоданчик, извлек из него еду: горбушку хлеба, кусок сала, пару луковиц... Выложив все это богатство на крышку чемодана и разделив по-братски, одну половину подвинул мне, за другую принялся сам, пригостившись рядом на санках. В один миг, как «чайка соловецкая», я проглотил, почти не разжевывая, неожиданно свалившееся на меня счастье!.. И только после того, как доел последнюю крошку, в полную меру ощутил настоящий, лютый, дремавший во мне до поры голод. Будь силы, я, кажется, отнял бы у этого человека, разделившего со мной пищу, его долю. И ничего бы меня не остановило!.. Никакие угрызения совести, — настолько чувство звериного голода завладело мной. Я ненавидел его сейчас!

А он, не подозревая моих мук, аппетитно похрустывал луком, неторопливо и со вкусом пережевывал пищу...

Наконец, покончив с едой и закурив, он протянул кисет мне. Оторвав листок бумаги на закрутку, я пытался насыпать в него табак и не мог — дрожали руки, не слушались, не сгибались пальцы... Кончилось тем, что уполномоченный забрал кисет, сунул мне свою горящую сигарку, а себе стал сворачивать новую...

Стоило только затянуться, как все повторилось: он снова оказался на «карусели»... Опять перед глазами все поплыло... Разом исчезли: усталость, болезни, невзгоды... Стало легко и приятно... хотелось, чтобы это забытье никогда не кончалось. Великая сила — табак! Великий наркотик!.. Но похмелье всегда неизбежно. И оно, как правило, горько.

— Что будем делать дальше?

— Не знаю... Что хотите. Не знаю. Спасибо вам за хлеб.

— Идти можешь?

— Не знаю.

— А кто знает, я, что ли?

— Кажется, не могу... Не знаю. Ноги не ходят.

— Ты брось свое «не знаю»! — Он начинал сердиться. — Я предупреждал — уйду!.. Некогда мне возиться с тобой, понял?

Затоптав в снег окурок, он решительно поднялся.

— Или оставайся один, или идем, я жду!.. Давай, давай, поднимайся!

Вставать с санок без его помощи оказалось не так-то просто. Пришлось сначала вывалиться в снег, перекантоваться на четвереньки и только потом, раскачиваясь, постепенно перемещая центр тяжести к ногам, удалось подняться.

Все это время уполномоченный с раздражением наблюдал за моим «цирковым номером»...

Что ж! Пусть — я не симулирую, не ловчу и не выпрашиваю помощь!

Где-то я понимал и его: не всякий здоровый человек, тем более — мужчина, может быть «сестрой милосердия», да еще по отношению к заключенному, «врагу народа»...

Уполномоченному надоело смотреть на мои упражнения, он воздрусил чмонадчик на санки, привязал его и, повернувшись ко мне, сказал:

— Все. Я ушел. Некогда мне с тобой!.. На «17-м» предупрежу охрану — скажу, где находишься. Мой совет: хочешь жить — не стой, двигайся!

И он ушел. Я смотрел ему вслед.

Дойдя до места, где тропинка делала поворот, Ворон обернулся и крикнул:

— До «17-го» осталось меньше пяти километров. Не стой, артист, двигайся!..

«Спасибо за совет — я непременно ему последую, как только ты скроешься за поворотом. Я не уверен, что этот трюк «двигайся» сразу у меня получится. Не хотелось бы репетировать его на публике... Мои ноги сейчас — не мои — чужие, все равно что протезы, а на протезах сразу не ходят, на них сначала учатся... Мне, к сожалению, времени на учебу не отпущено...»

Я сделал шаг, другой, третий... Снова резанула боль в паху. Почему-то в паху ноги болели особенно... Ничего, к боли можно привыкнуть, притерпеться — главное, не спешить, не торопиться и не упасть. Это главное — не упасть!..

Как он сказал?.. До «17-го» осталось меньше пяти километров!! Как будто я не знаю, сколько осталось!.. Этот «пятый километр» (где я сейчас припущаю) мне памятен. На том свете я не забуду его! Здесь в меня стреляли однажды... Надо же, мистика какая-то!.. Судьба опять привела на это роковое место — нарочно не придумаешь!.. Пятый километр...

Тогда, на «17-й», нас выгрузили из автомашин и передали местному конвою. Цепочкой по одному конвой повел пешим строем на «Верхний». На пятом километре тропинка увела этап в заросли стланика. Ветки были сплошь усеяны молодыми шишками — в то лето случился урожай кедровых орехов. Меня так и подмывало сорвать шишку, но я боялся конвоя, да и шишки висели далековато... Наконец, уже на выходе из зарослей, заметил роскошную шишку, висевшую рядом с тропинкой, не удержался от соблазна и вышел на несколько шагов из строя, чтобы сорвать ее... Раздался выстрел. Я быстро обернулся: шагах в пятнадцати позади комендант целился в меня с локтя из пистолета. Не дожидаясь, когда он снова выстрелит, я упал... Полтора Ивана (так звали коменданта за его огромный рост) подбежал и своим сапожищем перевернул меня на спину. Я растерянно глядел на него во все глаза... «...Твою мать, промазал!» — выругался он, поняв, что я живой. «Не тушуйся, комендант, в следующий раз попадешь», — с дурацкой улыбкой посочувствовал я ему. Обычно в таких случаях комендант жестоко избивал жертву, — не одна загубленная жизнь значилась на его совести, — но на этот раз произошло что-то необъяснимое: он, как загнипнотизированный, долго и странно смотрел мне в глаза, выражение лица его постепенно становилось все более и более нормальным, человеческим. На глазах у

всех Полтора Ивана из злодея превращался в доброго Дядю Степу... Он осторожно снял ногу с моей груди и, беззлобно пробурчав: «Становись в строй», растерянно и как-то виновато даже отошел.

С того дня комендант возлюбил меня прямо-таки, как Парфен Рогожин князя Мышкина. Я стал его «крестником». Едва завидя, издали кричал: «Крестник! Давай сюда, покурим!» Делился последней сигаркой, не позволял вохре обижать беспричинно, когда я заболел цингой, сочувствовал, утешал...

Кончил Полтора Ивана плачевно. В разладе с собой и начальством. На ноябрьские праздники загулял, да так, что не мог остановиться чуть ли не до Нового года; поскандалил со своим начальством, в пьяной драке изувечил двоих своих же вохровцев (рука у него была тяжелая) и угодил под трибунал — его под конвоем спровадили с «Верхнего». Размышляя о судьбе незадачливого коменданта, я одолел пятый километр и выбрался наконец из зарослей стланика на равнину. Дальше тропинка, почти не виляя, бежала с легким уклоном в долину, до самого «17-го».

Пройдя еще несколько десятков метров, я упал, все-таки упал... Итак, около шести километров позади. Впереди осталось четыре, чуть больше... Чуть больше, чуть меньше — уже не имеет значения — свой путь я прошел! Свое «горючее» сжег дотла — мои баки пусты, и резерв исчерпан, — дальше идти не на чем, ни сил, ни самолюбия — все израсходовано... Кто-то сказал: «Нет сил жить, и даже отчаяние мое бессильно!» Мое «отчаяние» помогло мне каким-то образом снова встать на четвереньки, изготовиться к очередному «старту»; я начал было уже раскачиваться, чтобы подняться, и в этот момент увидел подходившего ко мне уполномоченного. «Вот это да! Вернулся-таки!.. Выходит, не подвела меня интуиция, не обманула — есть бог на свете!»

Я не мог скрыть радость, охватившую меня, заулыбался, но встать на ноги, как ни старался, не смог — так и встретил своего спасителя на четвереньках.

С мрачным видом подойдя ко мне, он, ни слова не говоря, приподнял меня за шиворот из снега и усадил на санки. Чемоданчик переложил в ноги и крепко-накрепко прикрутил нас обоих веревкой.

Я не сопротивлялся. В моей душе сейчас победно пели ангелы, торжественно звучала суровая музыка Пятой симфонии Бетховена, исполняемая сводным оркестром всех лучших симфонических оркестров мира!

И тут уполномоченного прорвало:

— Чего улыбаешься, чего лыбишься, фитиль несчастный!.. Думаешь, жалко тебя стало? Нужен ты мне очень, артист... Посмотрел бы ты на себя, какой ты артист!.. Артисты в Москве, в Большом театре поют, а не на Колыме вкалывают... Спасибо скажи, что на меня, дурака, попал, а не на кого другого!.. Надо же! Расскажи кому — не поверят!.. Впрягся, как конь, в упряжку и тащу его, гада, контрика, — драгоценность какая, самородок!.. Брось улыбаться, говорю! Доулыбаешься, что брошу к чертовой матери или пристрелю, как собаку, — навязался на мою шею, интеллигент...

Все оставшиеся до «17-го» километры он материл меня последними словами (то проклиная, то угрожая). Не щадил и себя, клял за минутную слабость в бане, с которой, по его словам, все и началось...

Еще вчера он понял, что никаких физических сил пройти десять километров во мне нет, что моя просьба была чисто волевым всплеском, последней надеждой человека, стоящего на грани жизни и смерти... Он предвидел вариант, что возможно, ему самому придется тащить меня живого или мертвого... и все-таки пошел и на это.

Вот, значит, зачем ему понадобились саночки, вот зачем он захватил их. Какие слова способны объяснить этот поступок? А Полтора Ивана с его проснувшимся неуклюжим милосердием?! Его дремучий бунт против всех и вся?! Кто может исследовать, найти объяснение причинам неожиданной трансформации в психике людей — в этой бесконечной войне Добра и Зла?

...Мы приближались к финишу. Санки бежали под уклон легко и весело, как бы в тайном союзе с моими желаниями. Иногда, правда, соскользнув с тропинки, они глубоко проваливались в снег, — уполномоченный тут же чертыхался и награждал меня очередной порцией мата.

Я неотрывно смотрел вперед — во мне пели ангелы! С каждой минутой все торжественнее и громче!..

Наконец я увидел долгожданный ориентир всякого колымского поселения — сторожевые охранные вышки и колючую проволоку...

Неподалеку от лагерной вахты уполномоченный остановил санки, распутал веревку, выматерился напоследок в мой адрес, закурил... Мы финишировали.

— Спасибо, гражданин начальник! — сказал я.

Игнорируя мою благодарность, он направился в помещение рядом с вахтой, на двери которого красовались три огромные, намалеванные суриком буквы — МХЧ (материально-хозяйственная часть); уже от двери, обернувшись, приказал:

— Жди меня здесь, — и скрылся.

Как собака неотрывно смотрит на дверь, в которую ушел ее хозяин, приказав ей: «Сидеть!», так и я сейчас, ничего вокруг себя не видя, смотрел на МХЧ с надеждой и страхом и ждал возвращения уполномоченного. Вскоре он вышел, держа в руках два фанерных ящика, обшитые серым полотняным материалом, изрядно заштемпованные, с остатками сургучных печатей по стенкам, мои посылки...

— Забирай свое наследство! — Он поставил посылки у моих ног.

Наконец-то! Остался позади десятикилометровый тоннель между жизнью и смертью... Ценою нечеловеческих усилий я одолел его!.. Вот они — два ящика — у моих ног — в них все!.. Мое спасение, моя жизнь! Они мои! И никто не в силах отнять их у меня!

В жизни каждого человека бывают поступки (главные поступки его жизни), которыми он гордится или, наоборот, которые презирает, старается скорее забыть... В моем положении поступил я тогда единственно правильно — я сказал:

— Гражданин начальник! Спасибо за все, но я вас прошу, сделайте еще одно доброе дело...

— Какое еще дело? — недовольно спросил он.

— Отдайте посылки охране и прикажите не выдавать их мне... хотя бы в течение трех суток... Пусть несколько дней дают мне понемногу, порциями, понимаете?..

Уполномоченный серьезно посмотрел мне в глаза и впервые, кажется, по-человечески искренне сказал:

— Вот за это — молодец!.. Смотри-ка, сколько в тебе силы, оказывается!.. Сколько характера сохранилось... молодец! Теперь верю — жить будешь!.. Я догадывался, что ты мужик крепкий, жаль, что контрик.

— Никакой я не контрик!

— Ладно — не агитируй! Пошли.

Он подхватил обе посылки и быстро зашагал к вахте. Когда меня позвали зайти в помещение, на столе лежали обе мои посылки. В комнате находились два дежурных вохровца. Распоряжался уполномоченный.

— Вскрывай! — приказал он одному из вохровцев и, показав рукой на меня, представил: — Этот фитиль с «Верхнего». Пришел за своими посылками. Три дня не давать ему их! Как бы ни просил — не отдавать! Кормите понемногу, раза три в сутки, чтобы не случилось с голодухи заворота кишок, понятно? Учтите: он сам об этом попросил — боится за себя. Посмотрим, что там сохранилось? Сколько времени шли посылки?

Охранник повертел ящики, но никакой даты не нашел.

— Ладно, пойдем и так, — сказал уполномоченный. — Режь!

Вся сцена напоминала операционную, с главным «хирургом» — уполномоченным во главе.

Охранник вспорол обшивку, подковырнул несколько раз верхнюю крышку и вскрыл посылку.

Вытащить из нее ничего не удалось, кроме чудом сохранившейся описи, прилипшей к фанерной крышке. В ней перечислялось содержимое и количество каждого продукта.

Все, что было в посылке, а именно: сахар, колбаса, сало, конфеты, лук, чеснок, печенье, сухари, шоколад, папиросы «Беломор», вместе с оберточной и газетной бумагой, в которую был завернут каждый продукт, за время трехлетнего блуждания в поисках адресата перемешалось, как в стиральной машине, превратилось в единую твердую массу со сладковатым запахом гнили, плесени, запахом табака и конфетной парфюмерии... Все пропиталось жиром и табаком, засахарилось...

Такая же картина повторилась и в другой посылке, с той только разницей, что там к содержимому добавились пара шерстяных носков и вареники.

— Нда!.. — удивился уполномоченный. — Это называется поел, покурил и газетку почитал!.. И все зараз, в один присест. Что будем делать? Выбрасывать или?.. Распоряжайся, ты хозяин!

Охранники с брезгливым любопытством наблюдали за мной. Я подошел к столу, откромсал ножом кусок и тут же при всех, почти не разжевывая, торопливо проглотил, не разбирая ни вкуса, ни запаха, словно боясь, что кто-то может помешать или отнять у меня «это»...

Состояние потревоженного голода, проснувшегося в человеке при виде пищи, сравнимо разве что с состоянием алкоголика или наркомана.

Страдал и я. Муки голода, на которые я добровольно обрек себя, отдав на трое суток посылки, были мучительны. Я готов был сейчас наброситься на посылки, и есть их, есть, есть без конца. Истощенный организм не считался ни с чем, ни с какими доводами и предостережениями разума.

И все-таки, к разочарованию сытых, жаждавших представления охранников, я нашел в себе силы удержаться от соблазна и, ни на кого из них не глядя, вышел за дверь вахты. Инстинкт самосохранения и на этот раз взял верх!

В памяти еще жив был трагичный случай с одним бедолагой... В разгар промывочного сезона на прииск «Пионер» пожаловал целый оркестр заключенных-музыкантов, человек двадцать (поощрительная мера культурно-воспитательного отдела МАГЛАГа прииску, выполняющему план). Начальство лагеря распорядилось покормить музыкантов с дороги. В барак, где они расположились, повар принес противень селедок — по штуке на каждого. Музыканты в лагере — каста привилегированная, сытая — селедками их не ублажишь, никто есть не стал. Весь противень отправили обратно на кухню с каким-то подвернувшимся доходягой. Тому, конечно, и не снилась такая удача!.. Человек он был приморенный, голодный, — характера удержаться от соблазна не хватило, и он съел, вернее, проглотил все двадцать селедок в течение нескольких минут. Заворот кишок не заставил себя ждать. Жутко было видеть, как изо рта этого бедняги перед смертью, когда начались спазмы, выскакивали одна за другой селедки... Невероятно, как он ухитрился глотать их целыми?!

Наконец из дверей вахты снова появился уполномоченный вместе со старостой лагеря.

— Сколько сейчас времени? — спросил я.

Он пристально посмотрел мне в глаза и сказал:

— Сейчас только три часа — не беспокойся, тебя покормят сегодня еще раз, вечером, — терпи.

Замолчал, задумался, с иронической усмешкой оглядел меня еще раз и изрек:

— Значит, так!.. Останешься здесь на трое суток, пока не придешь в себя и не оклемаешься. Староста укажет место в бараке и выдаст пайку. Санки заберешь — это мой подарок тебе за характер! Пригодятся, когда будешь возвращаться на «Верхний»... Все! Я уехал. Прощай, артист!.. Может, когда и встретимся в жизни. Чем черт не шутит!

Ворон сдал меня подошедшему старосте и ушел... исчез, загадав мне на всю жизнь загадку: «Что же такое есть человек?!»

Так мучительно долго еще никогда не тянулось время, как в эти последние трое суток. Ни лежать, ни спать я не мог, — животный инстинкт гнал из барака к вахте, поближе к посылкам. Я окончательно потерял контроль над собой: не доверял охранникам, боялся, что они или выбросят посылки, или скормят собакам. Как волк из засады, следил за каждым, кто заходил на вахту... Когда подходило время получать очередную порцию, я умолял отдать мне все — уверял, что я уже в порядке, клянчил, плакал, угрожал, оскорблял, кричал «фашисты!», грозился выбить стекла в окнах, бил кулаками в дверь, в стены вахты, скулил от бессилия.

Спасибо охранникам!.. Они не поддались на мои «провокации» и в точности выполнили приказ уполномоченного. На мое счастье, у них хватило и нервов, и добродушия... Когда же им становилось особенно невтерпеж, они просто брали меня за шиворот и оттаскивали, как щенка, в снег, подальше от вахты...

Наконец наступил долгожданный день — трехсуточный «карантин» кончился!..

К недоумению вахтеров, за посылками я не явился!! Уже закончился утренний развод в лагере, — бригады вышли на работу, а меня все нет и нет... Послали старосту узнать, в чем дело, куда я мог подеваться. Никуда я и не «подевался» — староста обнаружил меня в баке, на своем месте — я спал!.. В самый критический, кризисный момент физической и нервной истощенности мое подсознание (самый безошибочный диагностик) пришло мне на помощь, сделав выбор между сном и пищей. Я спал глубоко, живительным сном праведника! Так спят тяжелобольные, переборовшие болезнь. Так, наверное, спали вывезенные из блокадного Ленинграда спасенные дети — наступил кризис. Когда староста разбудил меня, впервые за эти горестные месяцы я почувствовал в себе слабый огонек надежды, впервые поверил, что буду жить!

...Когда «17-й» окончательно скрылся из глаз и перестали быть слышны: скрежет транспортной ленты, человеческие голоса и пыхтение паровых экскаваторов, когда в безбрежии сияющего на все четыре стороны, слепящего снега воцарилась тишина, я остановился отдохнуть, мне захотелось есть...

Весеннее солнышко уже давало о себе знать — было тепло, и клонило в сон... Но теперь я уже вполне владел собой. Я сидел на санках и ел — обстоятельно и неторопливо... Интересно, что содержалось в той «массе», которую я сейчас с таким наслаждением разжевывал? Я развернул опись и перечитал ее вслух. В конце описи большие, неровные буквы, тщательно выведенные непослушной рукой Матери, промаслились, чернильный карандаш расплылся, потек, но разобрать написанное было можно... Опись заканчивалась словами:

«На здоровье, сынок! Береги себя».